

АВТОР БЕСТСЕЛЛЕРА "КУЛЬТУРА ДВА"

18+

# ВЛАДИМИР ПАПЕРНЫЙ АРХИВ ШУЛЬЦА



РЕДАКЦИЯ  
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Совсем другое время

Владимир Паперный

**Архив Шульца**

«Издательство АСТ»

2021



УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Паперный В.**

Архив Шульца / В. Паперный — «Издательство АСТ»,  
2021 — (Совсем другое время)

ISBN 978-5-17-134286-9

Владимир Паперный – культуролог, историк архитектуры, дизайнер, писатель. Его книга о сталинской архитектуре “Культура Два” стала интеллектуальным бестселлером. Лос-Анджелес. Эмигрант Александр Шульц, Шуша, неожиданно получает посылку. В коробке – листы и катушки с записями. Исследуя, казалось бы, уже навсегда утерянный архив, архитектор Шульц достраивает историю своей семьи. Она становится настоящим “русским романом”, где юмора не меньше, чем драмы, а любовь снова побеждает смерть. Содержит нецензурную брань!

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-134286-9

© Паперный В., 2021  
© Издательство АСТ, 2021

## Содержание

Пролог	6
Глава первая	12
Птичка	12
Сестра	14
Бах. «Каприччо на отъезд возлюбленного брата»	18
UNER	20
Дедушка Нолик	22
Гостя ниоткуда	25
Отец	27
Jewish Girl	31
Анька: Загорск	33
Глобус	36
Анька: снова Загорск	38
Джей: дневник	40
Глава вторая	42
Валя: детство	42
Валя: ИФЛИ	47
Валя: муж заболел	51
Валя: эвакуация	53
Дина: Баковка	58
Дина: Внуково	59
Через лес	61
Конец ознакомительного фрагмента.	64

# Владимир Паперный

## Архив Шульца

*Марине*

*Все имена и события вымышлены.*

*Любые совпадения с реальными именами, событиями, географическими и другими названиями случайны.*

## Пролог Архив

Нашего героя зовут Саша Шульц. Можно Шура. Поскольку в детстве он шепелявил, старые друзья зовут его Шуша. Когда новые знакомые слышат это обращение, часто шутят: “Шла Шуша по шоше и шошала шушку”. Хотя он слышал эту шутку сотни раз, всегда вежливо улыбается. Был период, когда он писал в “ЖЖ” и подписывался ШШ, и это сокращение на какое-то время к нему прилипло. Если эти две буквы напечатать рядом, то они будут выглядеть как шестиколонный портик, о чем он узнал уже в архитектурном институте. Иногда, впрочем, подписывался просто Ш, и получался трехколонный портик, о существовании которого он не подозревал до лужковской эпохи. В нашем повествовании из уважения к герою, который панически боялся однообразия, мы будем пользоваться двумя именами – Ш и Шуша.

В 1959 году на лестнице Военторга умер великий конструктивист Иван Леонидов<sup>1</sup>, впоследствии архитектурный кумир Ш, в Москве открылась американская выставка, от которой у нашего героя поехала крыша, а лауреат Сталинской премии Поль Робсон, судьба которого тоже скоро окажется переплетенной с судьбой Ш, в последний раз приехал в Советский Союз. Шуша в это время учился в десятом классе. Слово “учился” мы здесь употребляем условно, поскольку в школе он появлялся редко и все свободное время проводил в кафе “Артистическое” в проезде Художественного театра, где когда-то бывали Станиславский с Немировичем-Данченко. Там сидели актеры из Школы-студии МХАТ, подпольные абстракционисты и “прогрессивные” театральные критики. Одного из этих критиков называли Сеньором, и знакомство с ним Шуша долгое время считал поворотным событием своей жизни. Когда много лет спустя его спрашивали, чего больше принесло это знакомство – пользы или вреда, он обычно отвечал “фифти-фифти”.

Родители от этой дружбы были в ужасе, особенно после того, как Ш объявил им, что все, что они говорят, пишут и делают, кажется ему полной чушью. Они тогда были увлечены борьбой “за возвращение к ленинским нормам”, а Шуша, под влиянием разговоров в кафе, был уже очень далек и от Ленина, и от Сталина.

Чтобы отвлечь сына от вредного влияния Сеньора и сомнительной публики из кафе, а заодно доказать, что они яркие и интересные люди, мать с отцом решили показать ему Ленинград. Был снят дорогой номер в гостинице “Европейская” и назначены встречи с выдающимися деятелями культуры Ленинграда. Из встреч Ш запомнил одну, с драматургом Володиным. Он пришел к ним в номер, просидел полчаса, обсудил с родителями сценарий фильма “Звонят, откройте дверь”, который он тогда писал, и ушел, явно не понимая, зачем его позвали.

Тут Шуше стало ясно, что веселья не будет, и он послал телеграмму Сеньору в Москву: “Я ЛЕНИНГРАДЕ ДО 25 НОЯБРЯ”. На следующий день пошел на Главпочтамт на Невском рядом с аркой Главного штаба, где его уже ждал ответ: “ПОСТАРАЮСЬ БЫТЬ ЛАКОМКЕ”. Речь, разумеется, шла о кафе “Лакомка”, Садовая, 22, рядом с Гостиным двором. Ш до этого был в Ленинграде в возрасте шести лет, помнил только, что его укачало в самолете и он заблевал квартиру опального ленинградского литературоведа. Про кафе он слышал от Сеньора много раз. В ответной телеграмме не было ни числа, ни времени, и в этом была героическая и страдальческая поза: ты звал – я приеду, я буду просто сидеть в этом кафе все дни подряд и терпеливо тебя ждать.

---

<sup>1</sup> Леонидов Иван Ильич (1902–1959) – советский архитектор, представитель русского авангарда.

24 ноября у родителей была запланирована встреча с очередным деятелем культуры, но Шуша с утра объявил, что у него свидание, и выскочил из номера, в последний момент приняв от мамы десять рублей на спасение от голодной смерти.

В незнакомом городе, учил Сеньор, надо ходить пешком. Сам он следовал этому принципу даже в родной Москве, а может, он никогда и не считал Москву родной. Картой пользоваться не надо – просто, дойдя до любого угла, посмотреть на названия пересекающихся улиц и запомнить. Через несколько дней хаотического шатания по городу ты будешь знать его лучше любого местного жителя. Сеньор, похоже, был не только *self-made hippie before the hippie era*<sup>2</sup>, как его назвала позже одна славистка, но и ситуационистом, когда движение *Situationist International* еще не возникло.

Итак, из “Европейской” Шуша пошел пешком. Дойдя до угла, посмотрел на названия улиц и запомнил – Михайловская и Невский. Подходя к “Лакомке”, увидел в окне Сеньора, он сидел примерно за таким же столиком, как и в московском “Артистическом”. Начался “привычный день с Сеньором”.

Они шатались по городу. Сеньор произносил монологи, показывал Марсово поле (славно вы жили и умирали прекрасно), Кировский мост, особняк Кшесинской на Большой Дворянской, подаренный за дрыгоножество, и явно блаженствовал: Шуша поступил как верный ученик: телеграмма была до востребования, как и должно, и встретились они в любимом городе и любимом кафе Сеньора.

Надо было звонить какому-то Грише, говорили, что Гриша – подающий надежды писатель. Знаем мы эти ленинградские мифы, ворчал Сеньор, но так и быть, позвоню. Они встретились с Гришей, который с виду показался подростком-пэтэушником, хотя был одного возраста с Сеньором. Критик и писатель сразу же начали спорить, постепенно переходя на крик. Смысл спора был непонятен, что-то про отношения Сартра с Камю, и Шуша переключился на рассматривание улицы Росси, стараясь найти нарушения симметрии между правым и левым зданиями. Карл Иванович Росси оказался на высоте, симметрия была безупречной. Когда они дошли до Александрийского театра, что-то заставило Ш прислушаться:

- Они постоянно выясняют, – говорил Сеньор, – кто умней и кто талантливей...
- ...и у кого хуй длиннее, – вставил улыбающийся пэтэушник.

Шуша замер. Он никогда не слышал, чтобы знакомые родителей, тем более писатели, разговаривали, как дворовая шпана. Он быстро посмотрел на Сеньора. Тот явно выглядел растерянным. Юность его прошла среди интеллектуалов в Ленинградской тюремно-психиатрической больнице, где их всех лечили от диссидентства методом профессора Снежневского – школа жизни не хуже Смольного института.

Возникла пауза. Гриша тоже выглядел смущенным – он, очевидно, неправильно считал внешний облик бродяги-Сеньора. Потом разговор возобновился, уже без крика. Шуша обернулся и тут заметил, что симметрия все-таки была не полной – одна из водосточных труб на правом корпусе была чуть короче других. Карла Ивановича, разумеется, обвинить в этом было трудно.

Гришу он не видел больше года. Какие-то сведения о нем доходили: Гриша написал хороший рассказ, Гриша выпустил сборник, Гриша получил премию. Перед Новым годом Сеньор сообщил, что Гриша переезжает в Москву писать книгу, но жить ему негде.

- У вас есть вроде дача под Москвой. Может,пустишь его пожить до весны?

– Это же летняя дача, – усомнился Шуша. – Печка-то есть, но стены тонкие, пол со щелями, тепло не держится.

Через несколько дней позвонил сам Гриша, уже из Москвы:

---

<sup>2</sup> Самодельным хиппи до эры хиппи (англ.).

– Слушай, я знаю, что ваша дача летняя, но мне приходилось ночевать и кое-где похуже, так что если ты не против, давай съездим посмотрим.

Шуша потребовал у родителей ключ от дачи “для великого писателя из Ленинграда”. Родители задумались. Они помнили, как в 1941 году на даче жили солдаты, которые разводили костры прямо на полу. Защитников родины они, естественно, ни в чем не обвиняли, тем более что большинство этих солдат, греющихся у костра из семейной мебели, скорее всего, погибло в том же самом 1941-м. Помнили они также и другой эпизод, когда в 1956-м там зимовал Жора.

Жора был театральным критиком из Ленинграда, но тайно писал прозу. Какие-то у него возникли дома сложности, пришлось переехать в Москву. Жить было негде. Ночевал у друзей. Его взяли на работу в журнал. Машинистка Наталья Исааковна ему покровительствовала, перепечатывала какие-то его рассказы, и они ей очень нравились. Наступила осень и холода.

– А на вашей даче можно жить зимой? – спросила Наталья Исааковна у матери.

– Не знаю, – ответила та, – мы никогда не жили. Печки нет.

Жору это не испугало, он привез на дачу какую-то буржуйку и всю зиму топил.

Весной мать осторожно заговорила с Натальей Исааковной.

– Нам вообще-то надо бы туда перевозить детей...

– Да-да, – отвечает машинистка, – он уедет, он там все уберет.

Когда родители приехали на дачу, они пришли в ужас. Потолок был совершенно черный от копоти. Пришлось звать соседа Ивана Егорыча отскребать и заново белить.

И вот теперь Шуша пытается поселить туда еще одного бездомного литератора.

– Только скажи ему – поосторожнее с печкой, чтоб не спалил дом, – робко попросила мама.

Ш пожал плечами, давая понять, что беспокоить писателя такими мелочами нелепо.

Всю дорогу в электричке и потом четыре километра от станции они болтали. Гриша оказался легким собеседником. И никакого ощущения, что он вдвое старше. Ему было интересно все: как Шуша учится, куда собирается поступать, какие книги читает.

– Значение книг сильно преувеличено, – многозначительно обронил Ш. – Я книг вообще не читаю. Знания надо искать в глубине собственной души.

Гриша весело рассмеялся:

– Шуша, не говори глупостей!

Он сказал это таким доброжелательным тоном, что Ш несколько не обиделся, а, наоборот, решил, что с пэтэушником надо провести побольше времени.

– Ты знаешь, – сказал Ш, – мне на самом деле тоже негде жить, жуткий конфликт с родителями. Что если я поживу здесь с тобой недельку?

– Валяй, вдвоем веселей.

На следующий день они переехали на дачу. У Гриши с собой была пишущая машинка и чемоданчик с рукописями, у Ш – этюдник и несколько чистых холстов. Несмотря на холод и постоянный голод, первую неделю Шуша провел в состоянии эйфории. Тепло держалось примерно два часа, потом все выдувалось через щели в полу и оконных рамах. Они забили окна одеялами, накидали каких-то тряпок на пол и старались топить печку не переставая.

День начинался так. Вылезти из-под груды пахнущих плесенью одеял, каждый в своей комнате, и быстро натянуть на себя все, что удалось найти и на половине Шульцев, и на половине родственников, куда Ш проник с помощью топора и отвертки. После этого они растапливали остывшую печку припасенными с вечера дровами, а потом Гриша начинал готовить солдатский завтрак из лапши и консервов “Частик в томате”, купленных в сельпо на Первомайской улице.

Где-то к двум часам дня, когда с бытом было покончено, Гриша садился стучать на машинке, а Шуша – мазать масляными красками белые холсты. Самое интересное начина-



лось вечером, когда они готовили ужин и разговаривали о жизни. Гриша принял на себя роль наставника, но, в отличие от Сеньора, не пытался говорить парадоксами и покупать популярность фразами типа “не хочется – не делай”, а давал простые и даже скучные советы – больше читать, больше работать, не лениться и не стараться казаться не тем, что ты есть. Один из его советов Ш смог оценить только много лет спустя: не бояться смерти.

Главная проблема была с дровами. Весь запас в сарае истаял в первые три дня, после чего оба стали бегать по шульцевскому участку, а потом и по соседскому в поисках чего-нибудь, что можно сжечь. Когда сгорел повалившийся забор, недостроенные качели и засохшее дерево, Гриша хищным взглядом осмотрел ту часть сарая, где хранились пожелтевшие связки “Литературной газеты” и “Нового мира”.

– Все это, наверное, есть в библиотеках... – сказал Ш неуверенно. В Грише в этот момент боролись воспитатель юности и человек, страдающий от холода. После непродолжительной борьбы с собой он сказал “да” и решительно схватил первую пачку.

– Но вот эту коробку трогать нельзя! – предупредил Шуша. – Мы туда складывали семейные документы. Когда-нибудь я ими займусь.

– Правильно, – сказал Гриша. – Такие вещи надо хранить.

Примерно через неделю Ш вдруг почувствовал, что соскучился по родителям, при этом никак не мог вспомнить, в чем, собственно, была суть конфликта. В общем, он придумал повод и уехал в Москву. Отмывшись, отъевшись и отоспавшись, Шуша совершенно забыл и про дачу, и про Гришу. Родителям сказал, что высшее образование совсем не такое уж и зло и что куда-нибудь, где учат писать масляными красками, он, может быть, и готов поступить.

Окрыленные родители навели справки, узнали от друзей, что поступать надо в архитектурный, но для поступления надо сдавать рисунок. Вспомнили, что Юра, сын их друзей по институту, а теперь известный подпольный художник-авангардист, зарабатывает уроками рисования. После долгих телефонных переговоров Шуша приехал к Юре. Тот поставил гипсовую голову Сократа и стал показывать, как надо прикреплять бумагу к листу фанеры. Кнопок в доме не нашлось, Юра принес молоток и шурупы и стал забивать шурупы в фанеру молотком. Шурупы гнулись, фанера трескалась. Шуша с восхищением смотрел на эти действия. Он был уверен, что настоящий художник и должен быть абсолютно непрактичным. Выпускник кружка “умелые руки” Центрального дома детей железнодорожников, он понимал, что у него шансов стать художником мало. Впрочем, для архитектора умелые руки не должны быть серьезной помехой.

Кое-как Юре удалось прикрепить лист бумаги, и урок начался.

– Самое главное, – говорил Юра, – это выделить светлые и темные части предмета, обвести их тонкой линией и потом ровно закрасить карандашом. Это придает рисунку законченность и, если угодно, красоту.

Шуша никогда не слышал о подобной технике, ни до, ни после урока. Более того, ни в одном Юрином авангардном произведении нельзя было увидеть и следа такой техники. Похоже, что это была импровизация.

Когда урок закончился, Юра поделился своей философией искусства.

– Ты, наверное, думаешь, что художники делятся на более талантливых и менее талантливых. Это все ерунда, надо ухватить идею. А когда ухватил, то ты ее насилуешь и насилуешь, сколько можешь.

– А архитекторы? – поинтересовался Шуша.

– Один черт, – ответил Юра. – Если хочешь быть архитектором, начинай искать идею.

Для живописи нашли преподавателя со смешной фамилией Комарденков. Он учился у Татлина, работал с Таировым и Мейерхольдом, был знаком с Маяковским. Во время первого

урока Комарденков очень удивился, поняв, что Ш действительно не имеет представления о живописи, но потом, когда тот сравнительно быстро освоил несколько нехитрых приемов, с помощью которых можно получить проходной балл на вступительных экзаменах, быстро переключился на рассказы о молодости, что было интереснее и ему, и Шуше.

– Маяковский любил подшучивать над моей фамилией, считая, что она происходит от слова “морда”, – рассказывал Комарденков, пока Шуша сезанновскими мазками лепил форму лимона. – Пойду, говорит, вымою руки и комарденкова. Но я не обижался. А Есенин с Шершеневичем предложили мне сделать обложку к их книге “Все, чем каемся”. Я крупно написал три первых буквы ВЧК и мелко все остальные. Довольно скоро меня вызывают в это самое учреждение и говорят: “Наша фирма в рекламе не нуждается, меняйте обложку”. Поменяли. Обошлось.

В конце марта Шуша вспомнил о Грише и решил его навестить. Дача выглядела нежилой. Все было покрыто толстым слоем слежавшегося почерневшего снега. Он с трудом открыл вмерзшую калитку и двинулся к дому, проваливаясь в глубокий снег. В доме все выглядело примерно так же, как и в декабре. Те же тряпки на полу. Те же одеяла на окнах. Тот же запах сырого дерева и преюющих матрасов. Он зажег свет. Посреди комнаты стоял этюдник с холстом, на котором был Гришин портрет. Гриша стоял, прислонившись к березе, у него были большие грустные глаза с пушистыми ресницами. Не хватало только надписи “люби меня как я тебя”. Заметил лежащую на этюднике записку: “Дорогой Шуша, я испортил холст и много краски. Прости. Не выдержал холода и убегаю. Спасибо за все. Твой Г. Рид”.

Шуша огляделся. Пустовато. Кое-какая мебель явно пошла на растопку. Решил проверить сарай. Начерпав полные ботинки снега, добрался до сарая, отпер дверь и замер: не было не только газет и журналов, но и коробки с архивом. Ну и скотина! Поэтому-то у него такой виноватый вид на автопортрете? И почему он подписался не Гриша, как обычно, а Г. Рид? Знал ли он, что *greed* по-английски – жадность? Было ли это случайностью или какой-то игрой с самим собой? Или с Шушей?

Этого Шуша так и не узнает, потому что Гришу он больше никогда не видел. Через несколько лет пришло известие, что тот покончил с собой в сумасшедшем доме где-то под Ленинградом.

Спустя многие годы, когда Шуша сидел у окна своей студии на 20-м этаже в даунтауне Лос-Анджелеса, с тоской наблюдая яркую ночную жизнь внизу, зазвонил телефон.

– Мистер Шульц? Это Джеффри снизу. Вам тут посылка. Спускаться не надо, Боб поднимет ее к вам на тележке, она тяжелая.

Через несколько минут в дверь постучали.

– Куда ее ставить? – спросил улыбающийся Боб. На тележке стояла огромная разваливающаяся картонная коробка, скрепленная липкой лентой и какими-то веревочками. На ней были написаны и зачеркнуты все Шушины многочисленные американские адреса, кроме самого последнего.

– Прислали по почте? – спросил Шуша.

– Вроде нет. Как она попала в вестибюль, ни я, ни Джеффри не заметили.

– Ставь прямо тут, – сказал Шуша. – Я разберусь.

– *Yes sir!*

Шуша нащупал в кармане доллар и сунул его Бобу.

– *Thank you sir!* – сказал Боб и вышел.

Шуша принес длинный кухонный нож, сел на пол рядом с коробкой и начал вскрытие. Из коробки донесся слабый запах плесени. Как только Шуша разрезал все веревочки и куски липкой ленты, картонка развалилась. Он протянул руку и взял первый попавшийся предмет, прозрачную магнитофонную бобину с пленкой. Смятый и перекрученный конец пленки раз-

мотался. На бобине можно было разглядеть выдавленные буквы “З-Д № 6 г. ЗАГОРСК”. К самой бобине приклеена бумажка с надписью детским почерком “Птичка”.

## Глава первая Джей

### Птичка

Все было как всегда. “Ригонда” на конических модернистских ножках стояла на своем месте в кабинете отца. На полированной крышке Шушин серо-зеленый *Grundig TK-5* с неработающей перемоткой. Кабель тянулся к задней панели “Ригонды”, так что звук шел из нее. Прозрачные бобины вращались. И как всегда, звучала “Птичка”. Но что-то было не так.

Откуда взялась эта запись и почему ее называли “Птичкой”, никто уже не помнит. Скорей всего, Шуша подсоединил свой *TK-5* к дедовской “Спидоле” и записал с эфира. Запись была с шумами и помехами, время от времени врывается голос на непонятном языке. Много лет спустя Шуша с помощью интернета установил, что песня называлась *What a Lovely Day*<sup>3</sup> и ее исполняла шведская певица Дорис Свенссон. Когда Шуша услышал песню в чистом виде, ему чего-то не хватало, в те далекие 1970-е они слушали ее столько раз, что шумы и помехи воспринимались как часть музыки. Помехи напоминали птичий свист, уж не поэтому ли ее называли птичкой?

Это было счастливое время. Каждый день в семь утра звонил будильник. Шуша будил сестру и отца. Они натягивали свитера, надевали ошейник на Татошу и бежали по синеватому, припорошенному снегом асфальту. Мимо конструктивистского кинотеатра “Шторм”, который когда-то был эклектичным “Наполеоном”, а в эту зиму на фасаде красовался сам Наполеон в исполнении Рода Стайгера; через проходные дворы в парк Алексеевского женского монастыря, того самого, который в 1830-х годах был перенесен из Чертолья в Красное Село, освободив место для храма Христа Спасителя. Никакого монастыря, конечно, уже не было, его разрушили в 1926-м. В перестроенном храме Алексия человека Божия теперь располагался Дом пионеров, где Шуша когда-то причащался искусству и спорту в кружках рисования и туризма.

Потом они возвращались домой, снимали кеды и шли в кабинет отца за последней порцией спорта. Шуша включал “Птичку”, отец, стоя на коленях, катал свое колесо, качая пресс, Джей на коврике изображала позу “лотос”, а Шуша начинал свои двести приседаний. Кабинет отца был небольшим, места на полу было мало, они почти задевали друг друга, но в этой стиснутости было что-то магическое. Все сложности между Шушей и отцом как будто улетучивались, и им было хорошо вместе. Всем четверым, если учитывать Татошу.

Но это продолжалось недолго. Джей скоро вышла замуж за социолога (она так и называла его – “мой Социолог”), переехала к мужу, и бег прекратился. Шуша с отцом какое-то время пытались поддерживать традицию – бегали, заводили “Птичку” и по очереди катали колесо, но выяснилось, что без Джей это не работало. Похоже, что двух мужчин объединяло желание защитить “маленькую девочку”, хотя маленькой она давно уже не была.

...Утром, в самом конце 1978 года, Шуша постучал в кабинет отца. Звучала “Птичка”, было ясно, что он не спит. Постучал еще раз. Отец не откликнулся. Шуша осторожно приоткрыл дверь. Все было как всегда. На полу на коврике по пояс голый отец катал свое колесо. Прошло не меньше минуты, прежде чем Шуша понял, что именно было странным: движения отца были явно замедленными. Он пригляделся. Широкая мускулистая спина отца сотрясалась от рыданий. Отец сделал еще одну попытку прокатить колесо вперед, но не смог. Его руки дрожали,

---

<sup>3</sup> Какой прекрасный день (англ.).

он прилагал огромные усилия, чтобы сдвинуть колесо с места, но оно только дергалось. *What a lovely day to wake up in the morning*<sup>4</sup>, – неслось из “Ригонды”. Не замеченный отцом, Шуша вышел, осторожно закрыв за собой дверь.

За неделю до этого в два часа ночи в квартире раздался звонок. Шуша снял трубку.

– Джей не у вас? – спросил Социолог.

– Нет.

– Жалко. Я еще не дома, а она не подходит к телефону.

– Жалко? – переспросил сонный Шуша, – Да, хорошая была девочка...

Можно сказать “жалко”, если разбилось блюдо, но не о жене, которая неизвестно где шляется в два часа ночи.

В комнату вошла мать, торопливо запахивая расшитый самаркандский халат:

– Что случилось?

– Ничего, всё в порядке, Джей где-то болтается. Ложись спать.

Через какое-то время телефон зазвонил опять. Мать тут же вошла в комнату. Было видно, что она не ложилась. Шуша снял трубку.

– Слушай меня внимательно, – заговорил Социолог, – ничего не изображай лицом и ничего не говори, быстро возьми такси и езжай сюда...

– Что? Что он говорит? – спрашивала мать. – Что случилось?

– Не знаю, – сказал Шуша, натягивая штаны. – Ничего серьезного. Он просит меня к ним приехать. Я тебе позвоню оттуда.

Он быстро выбежал на улицу, чтобы избежать расспросов. Черная декабрьская ночь. Оранжевый под фонарями снег. Такси останавливается сразу. Они мчатся по спящему городу, и только тут до Шуши начинает доходить смысл происходящего.

Несколько дней назад мать заметила, что из аптечки отца исчезли все снотворные. Она сразу вспомнила, что, уезжая домой к мужу, Джей как-то долго и нежно с ней прощалась, что было совсем на нее не похоже. Мать тут же поехала к ней, позвонила в дверь, а когда Джей открыла, произнесла решительно:

– Отдай мне все снотворные.

Джей открыла было рот, чтобы начать все отрицать, но вместо этого заплакала. Они долго стояли на лестничной клетке обнявшись. Потом вошли в квартиру, и Джей принесла упаковки “Летардила”.

“Мать сказала, «все упаковки», – думал Шуша, несясь в такси по пустому и темному Ленинградскому проспекту, – а кто их считал?”

У лифта его ждал Социолог. В руках у него был телефон на длинном шнуре, который тянулся в квартиру.

– Я два часа подряд делал ей искусственное дыхание рот в рот, – сказал он. – Скорая где-то застряла, они мне давали инструкции по телефону. – Он протянул трубку Шуше. – Вот, звони маме.

Мать примчалась через полчаса. Она стояла в открывшемся лифте, прижавшись спиной к стенке, как будто боялась потерять опору, и не мигая смотрела на Шушу, пытаясь силой взгляда остановить слова, которые он сейчас должен был произнести. Шуша молчал. Потом медленно отрицательно покачал головой. От этого движения грузное тело матери стало медленно и беззвучно сползать вниз. Прежде чем Шуша смог сдвинуться с места, в его сознании произошла вспышка. Он вдруг отчетливо увидел сползающее по кирпичной стене изуродованное пытками тело дяди Левы, когда его расстреливали в киевском подвале в 1938 году.

---

<sup>4</sup> Как приятно проснуться утром в такой день (англ.).

## Сестра

Единственный период полного счастья, который Шуша может вспомнить, продолжался до трех лет. Тогда было достаточно произнести слово “мама”, как где-то внутри возникало что-то теплое и сладкое, как манная каша. В тех редких случаях, когда приходилось выходить на улицу, он попадал в чужой и страшный мир. Ездили на деревянных тележках безногие инвалиды, шлепали в валенках с калошами мрачные тетки в серых платках, громыхающий трамвай обгонял скрипучую телегу, запряженную покрытой инеем лошадью.

– Я не люблю тётъ в платочках, – шепнул он маме.

– Я тоже хожу в платочке, – улыбнулась она.

Он попытался ей объяснить разницу, но подходящих слов у него не нашлось. Мама была молодая и красивая. Тетки, инвалиды и телеги были старые и грязные. Они принадлежали миру, которого не должно было быть.

Счастье кончилось, когда мама отвела его в детский сад, который, несмотря на то что принадлежал Литфонду, оказался частью страшного мира. Его записали позднее, чем всех, он был чужой. В большой туалетной комнате на стене висели деревянные сидения для унитазов, на каждом было имя. Он протянул руку к сидению с надписью “Саша”, но сидящие на пяти унитазах на своих именных сидениях дети закричали:

– Это не твое! Это другого Сашки!

После этого он старался вообще не ходить в туалет. Этих нескольких лет страданий он долго не мог простить матери.

Школа оказалась ненамного лучше. Под строгим взглядом Веры Николаевны (“как держишь ручку, Шульц?”) надо было писать палочки в прописях, макая железное перо в чернильницу. Как-то осенью перед вторым классом к ним забежала мать Жоры Соловьева.

– В Сокольниках открылась английская школа! – закричала она с порога. – Пока принимают всех. Поезжайте прямо сейчас. Жору я уже записала.

– Поехали прямо сейчас! – сказал Шуша матери, когда Соловьева ушла.

– Давай завтра, – неуверенно ответила мать. Было видно, что идея ей не нравится.

Шуша продолжал приставать, а мать отказывалась под разными предлогами. В конце концов произнесла что-то странное:

– Я не хочу, чтоб ты там учился. Там будут учиться, – она задумалась, – дети дипломатов.

Дети дипломатов? Что за ерунда? Еще одна обида, которую он долго не мог ей простить. Много лет спустя он вспомнит эпизод, который мог объяснить загадочное поведение матери. Это было летом после первого класса, когда они еще не переехали на дачу. К Шуше зашел Жора. Они были одни в комнате. Внезапно с заговорщицкой улыбкой Жора стал расстегивать Шушины штаны и попытался просунуть руку ему под трусы. Шуша замер в недоумении, потом стал вырываться, и в этот момент открылась дверь и в комнату вошла бабушка Рива. Жора быстро отдернул руку и направился к двери.

– Мне пора, – сказал он и вышел.

Похоже, бабушка все рассказала маме, та решила спасти сына от содома и приняла меры – Жора у них больше не появлялся. Об английской школе тоже пришлось забыть. А если бы бабушка не вошла? Наверное, он гораздо лучше знал бы английский и, возможно, стал не архитектором, а дипломатом. Или переводчиком, как отец. Шансов увлечь его в “содом” было мало – ничего, кроме брезгливого недоумения, Жорины действия не вызвали.



– Ты бываешь груб с мамой, – сказал отец. – Давай договоримся, если я замечу, что ты с ней плохо разговариваешь, я тихо скажу тебе какое-нибудь слово, например “ахтунг”, это по-немецки “внимание”, чтобы никто, кроме тебя, не догадался.

Восьмилетний Шуша задумался. Груб с мамой? Странно. Ничего такого он не помнил. Если кто-то и бывал груб с мамой, так это как раз отец. Мог сказать ей: “Не выношу эту вашу деревенскую манеру”.

– Это очень важно, – продолжал отец, – ей сейчас нельзя нервничать, у нее будет ребенок.

– Ребенок? – удивился Шуша. – Когда?

– Через несколько месяцев.

– Как же можно знать заранее? – недоумевал Шуша.

– Ну, врачи могут...

Новость была непонятная, и Шуша о ней тут же забыл. Мама становилась толще, но он никак не связывал это ни со своей грубостью, ни с отцовским ахтунгом. Потом маму увезли в больницу. Шуше сказали, что у него родилась сестра, но увидит он ее не сразу, потому что и у мамы, и у новорожденной температура сорок и неизвестно, выживут обе или нет.

Приехала мамина подруга Муха.

– Данька, – сказала она строго, – завтра их выписывают. Состояние тяжелое. Мы с тобой сейчас едем покупать все необходимое. Меня Валя умоляла: не позволяй ему ничего покупать без тебя, он потратит уйму денег и купит не то, что надо.

Шушу взяли с собой. Ездили в такси целый день и купили кровать, коляску, пеленки, матрас и одеяло.

– Теперь езжайте прямо домой, – сказала Муха, – мне еще на работу надо. Обещай, что больше ничего покупать не будешь – едешь прямо домой! Обещаешь?

– Обещаю, – торжественно произнес отец, но как только они отъехали и Муха скрылась за поворотом, быстро сказал водителю:

– К гостинице “Москва”. И подождите нас. Две минуты.

Напротив Совета труда и обороны, уже ставшего Домом совета министров, находился Гастроном № 24, знаменитый своим кондитерским отделом.

– Какой у вас самый большой торт? – спросил отец у продавщицы в белом переднике.

– Вот есть один, заказали и не востребовали.

– Покажите!

Принесли торт. Это было монументальное сооружение, которое могло бы стать украшением сельскохозяйственной выставки, на которую Шуша попадет только через два года. На толстом бисквитном основании стояло шоколадное ведро, наполненное зеленоватыми цукатами, изображающими лед. Из льда торчала шоколадная бутылка, на которой можно было прочитать рельефную надпись “Советское шампанское”. Бутылка, как потом выяснилось, была наполнена сливочным кремом.

Дома коробку с тортом поставили в недавно купленный холодильник “Саратов”, для этого из него пришлось вынуть все остальное. Привезли маму с небольшим свертком, в котором была сестра. Она была такая слабенькая, что даже не плакала.

Дважды в день стала приходиться медсестра делать уколы пенициллина. Это было новое лекарство, и его, как говорили, делали из плесени. Про Шушу забыли. Он сидел на кухне, время от времени открывая холодильник и отламывая очередной кусок шоколадной бутылки. Ее хватило на три дня. Потом он перешел на бисквит. Несмотря на тошноту, это была счастливая неделя. Когда торт кончился, температура у обеих спала, и сестра научилась плакать.

Когда ей исполнилось четыре года, а Шуше было двенадцать, всех троих – маму, сестру и Шушу – отец отправил в Дом творчества писателей. Он находился в пригороде Одессы, на Фонтане, в районе 12-й линии. Поселили в главном корпусе, потому что Шульц был достаточно известным переводчиком, правда, недостаточно известным для двухкомнатного номера.

В комнате было две кровати, для сестры принесли раскладушку. Окна были открыты, в них залетали мухи, и было жарко. В первый день, часов в пять вечера, пошли на пляж.

До этого семья всегда ездила отдыхать на Балтийское море – а тут Шуша понял, что такое южное солнце.

После часа сидения на досках пирса у него обгорела нога.

Через два дня у сестры начал болеть живот. Становилось все хуже, лекарства не помогали.

– Дизентерия, – сказал врач из Дома творчества. – Надо везти в Москву. Здесь мы ничего сделать не можем.

– Ты уже большой мальчик, – сказала мать Шуше. – Оставайся, а мы полетим в Москву. Если что-то случится, беги к Мухе, она в третьем коттедже. Самое главное, вот твой обратный билет на самолет. Смотри не потеряй!

Как потом рассказала мама, сначала они долго тряслись в разбитом автобусе до аэропорта. Самолет опаздывал. Два часа просидели в душном зале ожиданий, где не было питьевой воды. В самолете болтало. Сестре было так плохо, что мать боялась, что живой не довезет. А во Внуково по аэродрому метался отец, который не понимал, куда они пропали, и подозревал худшее. Прямо с аэродрома сестру отвезли в больницу.

А Шуша остался один с тремя кроватями. Ситуация ему скорее нравилась. Через два дня, вернувшись домой из столовой после обеда, он обнаружил, что их комната абсолютно пуста и выглядит как в первый день, когда они приехали, – кровати застелены, на полу ни соринки и – никаких вещей. Посреди комнаты стояла уборщица Люда в зеленом платье и грязном черном фартуке.

– А я твои вещи аккуратно сложила и перенесла, – сказала она с улыбкой. – Все-все вещи, всё как было. Пойдем покажу, куда тебя переселили.

Она повела его мимо фонтана в сторону коттеджей. Открыла ключом самый маленький из них и впустила Шушу в комнату. Там была только одна кровать. На столе разложены его вещи примерно в том же беспорядке, как раньше. “Билет, – подумал Шуша, когда Люда ушла, – он был в той комнате на столе”.

Билета не было. Он перерыл все ящики и свой чемодан. Никаких следов. Что с ним будет? Как попадет домой? Он бросился к Мухе. Она взяла его за руку и потащила в кабинет директора.

– Жди здесь, – сказала она, усадив его в дубовое кресло с подушками из темно-красной кожи.

Из кабинета доносились сердитые голоса, но что говорят, разобрать было трудно. Через пятнадцать минут к Шуше подбежала растерянная Люда все в том же грязном фартуке, держа в руках смятую бумажку.

– На, держи свой билет.

Новое жилье понравилось Шуше. Весь домик принадлежал ему, и впервые в жизни была полная свобода. Он проводил все дни с толстым рыжим веснушчатым Севой и черноглазой молдавской девочкой Аникой. Они бегали купаться, ездили на трамвае в Одессу, гуляли по холмам, болтали обо всем на свете.

Почему ему не приходило в голову позвать Анику в свой домик и поиграть с ней во что-нибудь запретное? Может быть, он был напуган лекцией отца о том, “к каким страшным последствиям могут привести игры мальчика с девочкой”?

Был, правда, один эпизод, когда они оба забежали в его домик за полотенцем, пока Сева ждал их на пляже. Они провели там около минуты, он искал полотенце, а она смотрела на него и улыбалась.

Много лет спустя у Шуши в голове возник кинофильм. С ним это бывает. Кино включается внезапно. Иногда он может перематывать, редактировать, дописывать, стирать неприят-

ные куски. Может даже вмешиваться в действие. Вот сейчас ему показывают, как они с Аникой стоят посреди комнаты. На ее тонких загорелых ногах бежевые босоножки с дыркой для большого пальца, платье в мелкую бело-розовую полоску с отложным воротником и белыми манжетами на коротких рукавах. В правой руке кожаная сумочка неопределенного цвета, с которой Аника не расстается, держа ее, как всегда, двумя тонкими пальцами. Она смотрит на него и улыбается, белые зубы и черные глаза блестят в полутемной комнате. Он подходит к ней ближе, и тут пленка обрывается. Пустой черный экран.

Где-то там сидит киномеханик, который сам решает, что и когда показывать. Часто совсем не то, что хочется видеть.

Примерно до семи лет сестра интересовала Шушу только как фотомоделю, примерно так же, как скайтерьер Татоша или его собственное отражение в зеркальном шаре на елке. В архиве сохранилось довольно много отпечатков десять на пятнадцать на кремовой фотобумаге с белой рамкой и фигурным обрезом. Эта рамка казалась Шуше верхом профессионализма, поэтому после долгих упрасиваний мама купила ему специальный резак в фотоотделе ГУМа. Потом в результате многочисленных переездов резак пропал, но кусок коробки затесался среди фотографий. На коробке было написано: “Изготовлено на Ленинградском оптико-механическом заводе, 1946, цена 1 р. 60 коп.”.

На некоторых фотографиях сестра на льду на фигурных коньках. На других – перед елкой в кокошнике Снегурочки. Были еще фотографии на качелях, на каруселях, перед клеткой слона в зоопарке. Удивительно, ни на одной фотографии она не улыбалась – смотрела прямо в объектив серьезно и внимательно, хотя потом все помнили ее улыбающейся.

– Скажи ей, чтобы надела куртку, – сказала ему как-то мать, – тебя она послушается. Ты же знаешь, что она всё повторяет за тобой, все твои дурацкие шутки.

Это была сенсация. Появился кто-то, для кого он стал авторитетом.

## **Бах. «Каприччо на отъезд возлюбленного брата»**

– Дедушка, – просят дети, – Расскажи про Иосифа Прекрасного.

Дача в Баковке. Дедушка Нолик сидит в плетеном соломенном кресле на террасе. Он снимает очки в золотой оправе, протирает их и снова надевает.

– Это всё, конечно, сказки для детей...

– А мы и есть дети! – кричат они.

– Хорошо, – соглашается он. – У Иакова был брат-близнец по имени Исав.

Иаков был кротким, а у Исава тело было покрыто шерстью, он был искусным в звероловстве. Исав родился на пять минут раньше. Мой Даня тоже родился на пять минут раньше Арика. Они всегда ссорились. Арик стал радистом, пошел на фронт добровольцем, пропал без вести...

– Дедушка! Про Иосифа Прекрасного!

– Я и говорю, – продолжал дед, – Исав, как старший сын, должен был стать наследником отца. Но Иаков перехитрил брата. Сначала предложил голодному брату чечевичную похлебку в обмен на первородство. А когда умирающий отец хотел благословить Исаву, их мать Ривка, которая любила Иакова больше, чем его мохнатого брата, подучила его подойти к умирающему Исааку, одевшись в козлиную шкуру, и получить благословение. Слепой Иаков ощупал его и говорит: “Голос вроде Иакова, но шерсть Исаву”. И дал ему благословение. Когда Исав понял, что его обманули, он хотел убить брата. Иакову пришлось бежать из Ханаана в Харран. Там он нашел своего дядю Лавана и стал на него работать. Лаван обещал отдать ему в жены свою младшую дочь Рахиль, если Иаков проработает семь лет. Через семь лет свадьба. Приводят невесту, закрытую покрывалом. Дома Иаков снимает с нее покрывало и видит, что вместо красавицы Рахиль ему подсунили ее старшую сестру Лию с больными глазами. Иаков бежит к тестю, а Лаван ему объясняет: нельзя младшую дочь выдавать замуж раньше старшей, это нарушение традиции. Вот поработай еще семь лет – получишь Рахиль. Деваться некуда, Иаков работает еще семь лет и получает вторую жену. Лия родила ему шесть сыновей.

Дед быстро, без запинки перечисляет имена, заученные восемьдесят лет назад:

– Рувен, Шимон, Леви, Иехуда, Иссахар, Зевулун. Рахиль родила двух: Йосефа и Биньямина. Были еще служанки. Служанка Лии Зелфа родила ему Гада и Асира, служанка Рахили Валла – Дана и Неффалима. Итого двенадцать детей – двенадцать колен Израилевых. Почему Израилевых? Потому что Иаков после того, как он боролся с Богом, стал называться Израиль.

У детей кружится голова от этой карусели жен, служанок, детей, имен и колен, но они терпеливо ждут их любимой финальной сцены. Дедушка продолжает бесконечную историю:

– Отец любил Йосефа и сделал ему разноцветную одежду. Все братья, кроме маленького Биньямина, возненавидели Йосефа, особенно после его сна, где солнце и луна поклонялись ему. Сначала хотели его убить, но решили, что выгоднее продать в рабство в Египет. Он попал в дом Потифара, а жена этого Потифара, ужасная женщина, потребовала, чтобы Йосеф разделил с ней ложе... В темнице он увидел вещий сон...

– Дедушка, – кричат дети. – Мы всё это уже знаем! Давай, как братья его не узнают.

Дед замолкает, потом продолжает. “Подойдите ко мне, говорит Йосеф. Посмотрите на меня. Неужели вы не узнаете меня, брата своего?”

Дедушка начинает рыдать. Дети терпеливо ждут. Они знают, что в этом месте надо рыдать, это будет длиться несколько минут, а потом история продолжится.

Много лет спустя, в пансионе Ламармора в Риме, Шуша начнет рассказывать Нике и Мике историю Иосифа Прекрасного. Когда дойдет до слов “неужели вы не узнаете меня”, у него из глаз хлынут слезы.

“Павловский условный рефлекс”, – думает Шуша, и только в этот момент до него наконец доходит, что именно заставляло деда плакать в этом месте. Деду слышался голос брата: “Неужели ты забыл меня, я брат твой, Левик!” Брат тоже на короткое время стал любимцем фараона, а потом тоже попал в темницу. Но даже если он и видел там вещие сны, это не избавило его от кирпичной стены киевского подвала.

## UHER

Когда Джей исполнилось восемнадцать, родители заняли денег у дедушки Васи и подарили ей немецкий репортерский магнитофон с романтическим названием “Ухер”. Она придумала целую историю, что немецкую фирму основал русский эмигрант, который использовал для названия старинное русское слово, которое значило “слушатель”. Очень типичная для нее игра со словами, про свою собаку, например, она говорила: “Мой Татоша – ужасный лайнер”. Эту способность видеть неожиданный смысл в словах, вещах и событиях, которую для простоты можно назвать талантом, она сохранила даже в самые последние месяцы, когда ее сознание постепенно погружалось в хаос.

Со своим “слушателем” она не расставалась и записывала все подряд. Когда писала диплом про детский фольклор, записывала детей. Это было еще до эпохи компакт-кассет, и пленки были намотаны на катушки или – употребим более профессиональный термин – на бобины.

Много лет спустя, получив загадочную коробку, Шуша обнаружил в ней и бобины. “Ухеры” и другие профессиональные магнитофоны в Америке в то время уже не продавались, хотя за бешеные деньги их можно было найти на специализированных сайтах. Однажды Шуше в дверь постучал Тодд Костелло из соседней квартиры. Чем Тодд занимался и на что жил, было непонятно, но с утра до вечера из его комнаты доносились звуки классической музыки. Вкусы у него были разнообразными – от Палестрины до Шёнберга. Каждый раз, поднявшись на лифте, Шуша останавливался у двери его квартиры и несколько минут слушал. Когда они сталкивались у лифта, что было редко, потому что Тодд почти никогда не выходил из дома, Шуша обычно говорил ему что-нибудь вроде:

– Вчера получил большое удовольствие от последней части Четвертой симфонии Малера.

Маленький худенький смуглый Тодд, одетый в черную майку и обтягивающие джинсы, расплывался в детской улыбке.

– Надеюсь, тебя не беспокоит моя музыка. Я всегда могу сделать потише.

– Что ты! – отвечал Шуша. – Делай погромче!

На этот раз вид у Тодда был испуганный.

– Прости ради бога, что я тебя беспокою, – сказал он. – Ты что-нибудь понимаешь в электронике?

– Что-то понимаю. Когда-то в детстве собрал детекторный приемник.

– Можешь зайти на минутку? Я абсолютная бестолочь в технике.

Квартира-студия Тодда представляла собой сочетание минимализма с гедонизмом. Почти все было белым – стены, ковер на полу, копии стульев Татлина, шторы, книжные полки, причем корешки книг тоже были белыми. Посредине стоял овальный обеденный стол, видимо, викторианской эпохи. Крышка стола была идеально отполирована, и на ней были разбросаны мужские носки очень ярких цветов. На стенах висели огромные черно-белые фотографии обнаженных мужских и женских тел, несколько напоминающие работы Роберта Мэпплторпа<sup>5</sup>. Рядом с огромной, *California King size*, белой кроватью стоял белый столик, а на нем, *oh, my god*, стоял “Ухер”, но не маленький репортерский, а студийный. Это был черный красавец, он стоял вертикально, на нем было куда больше кнопочек и стрелочек, чем на том старом у Джей. Большие матовые алюминиевые бобины с крестообразно расположенными прорезями напоминали ветряные мельницы, на каждой хорошо знакомым Шуше шрифтом было написано *UHER*. Бобины крутились, но звука не было. Быстро заглянув за магнитофон, Шуша мгновенно

---

<sup>5</sup> Мэпплторп Роберт (*Mapplethorpe Robert*; 1946–1989) – американский художник, известный своими гомоэротическими фотографиями.



понял, в чем проблема: кабель, который шел в стереосистему, не был вставлен полностью. Тут в Шуше проснулась не свойственная ему крестьянская хитрость.

– Я, конечно, попробую разобраться, – сказал он. – Но у меня тоже небольшая просьба.

– Все, что ты хочешь! – отвечал Тодд.

– У меня есть несколько бобин со старыми семейными записями. Мне нужно их переписать на компакт-кассеты. Кассеты я принесу.

– Господи! – воскликнул Тодд. – Да это мелочи. Кассеты можешь не приносить, у меня их целый ящик, я ими не пользуюсь.

Шуша сел на край кровати, повозился для приличия несколько минут, потом вдвинул на место кабель, и комната наполнилась хорovým исполнением шубертовской *Heilige Nacht*.

Через два дня Тодд постучал опять и со счастливой улыбкой вручил Шуше коробку с бобинами и компакт-кассетами. Наплевав на ужин и необходимость рано вставать утром, он отключил телефон и слушал всю ночь.

На одной кассете были хулиганские песенки, исполняемые ангельскими детскими голосами, на другой – занудная лекция о маниакально-депрессивном психозе. Потом он наткнулся на кассету, где Джей расспрашивает деда о его талмудическом прошлом.

## Дедушка Нолик

– Мой папа заведовал ишиботом<sup>6</sup> в местечке Глуск, – рассказывает дедушка Нолик. – Там готовили шойхетов<sup>7</sup>, они должны были резать птиц. Масса тонкостей, знаете ли. Надо было знать, что такое кошер, что такое трэф<sup>8</sup>. Страшная вещь! Схоластика! Когда моему брату Натану пришлось резать курицу в первый раз, он прекрасно справился. Потом пришел домой и грохнулся в обморок. Никто не мог привести его в чувство. К счастью, в этот день к богачу Глускину приехал из Бобруйска врач по фамилии Шульц. “У нас тоже есть Шульцы”, – сказал ему Глускин. Врач заинтересовался и зашел к нам. Увидел Натана без сознания и потребовал зажечь лампу. А в пятницу вечером этого делать нельзя, шабат. Папа был религиозный человек, но он сказал: “В Талмуде написано: спасение человека отменяет все запреты на шабат. Зажигайте”. Когда лампу зажгли, Натан очнулся, и врач был уже не очень нужен. Тем не менее его пригласили разделить с нами куриный суп. За столом выяснилось, что он наш родственник, двоюродный брат – мой, Натана, Левика и нашей покойной сестры Леи.

– Натан был старше? – голос Джей. Наверное, она сидит на табуретке со своим верным “Ухером” в руках.

– Да, старше.

– А отчего умерла Лея?

– Это была девочка легендарной красоты. Мама говорила: ну разве такие красавицы могут жить на свете? Ну, она и умерла. У нас с ней была общая скамеечка, мы всегда сидели рядом...

– А Левик?

– Левик был на два года младше. Он был избавлен от этой местечковой опеки, от всего, что я перенес, – ишибот, Талмуд.

– А что такого ужасного в Талмуде?

– Это страшная вещь! – возмущается дед. – Средневековая наука! Когда мне было семь лет, я должен был изучать бракоразводные дела. Все это давно умерло. Это схоластика, которая только на пользу антисемитам.

Пауза. Дед снимает очки, протирает платком слезящиеся глаза и неожиданно добавляет:

– Антисемиты, они были гои, язычники, а евреи были монотеистами... Ритуалы не менялись веками. При молитвах евреи надевают на голову такую штуку, талес. И еще на левой руке такая коробочка, тфилин. И длинный пояс, который завязывается как буква, название Бога, которое нельзя произнести. Ни один еврей никогда не произнесет этого слова. Имя состоит из таких знаков, которые считаются опасными, если произнести... А вообще-то все это полная чушь! Левик этого благополучно избежал. В тринадцать лет вошел в революционное движение.

– Тоже не лучший вариант, – говорит Джей.

– Не лучший, – соглашается дед. – Уехал из местечка. Здорово изучил марксизм. Начал нелегальную работу. Подпольная кличка у него была Хашиц. Он был под большим влиянием Розалии Залкинд. Тоже из Белоруссии, из Могилева. Фамилию потом поменяла на Землячку. Партийная кличка у нее была Демон, очень подходящая. Страшная женщина, крайне нервная и больная. Она и Бела Кун были членами “Пятаковской тройки”, расстреляли в Крыму 120 тысяч белогвардейцев, которым Фрунзе обещал амнистию. Пятакова расстреляли в 1937 году, Куна в 1938-м. Розалия умерла своей смертью и теперь лежит в кремлевской стене. А Нина, жена Левика, русская девушка, боевая подруга, приехала к нам во время Первой мировой войны,

---

<sup>6</sup> Ишибот (иешива, ешибот) – высшее еврейское учебное заведение.

<sup>7</sup> Шойхет – резник в еврейской общине.

<sup>8</sup> Трэф – некошерная пища.

увидела, как мама зажигает свечи и молится, – и стала проделывать то же самое, очень остроумная женщина. Она потом была подругой этой поэтессы, как ее, “Дневные звезды”...

– Ольги Берггольц.

– Да, Ольги Берггольц.

– Но ты рассказывал, что Левик потом бросил Нину, и у него появилась эта Аннушка, от которой он не мог ни на минуту оторвать рук.

– Он был совершенно без ума от Аннушки! К счастью, они не были официально женаты, это ее спасло. Когда началась революция, Лева поступил в институт Красной профессуры. Окончил его. Был послан в Кустанай. Стал делегатом Второго Всероссийского съезда Советов от Кустаная. Потом был редактором “Кооперативного пути” в Центросоюзе. Потом написал книгу “Проблемы народонаселения с точки зрения марксистской социологии”. Пришел к Бухарину, чтобы тот написал предисловие. Тот спрашивает: какими источниками вы пользовались? Лева говорит – немецкими. А английскими? Лева говорит: английского языка я не знаю. А Бухарин ему: голубчик, нельзя браться за демографию, не зная английского языка, потому что немцы плохо знают демографию, а англичане – хорошо. Лева засел за учебники и так выучил английский язык, что его послали в Америку. Привез оттуда две теннисных ракетки племянникам Дане и Арику. Стал секретарем парторганизации Красной Пресни. В 1934-м попал на прием к Сталину, и тот его отправил на Украину наркомом земледелия – Левика, который никогда в жизни не держал в руках серпа...

– И молота? – острит Джей, пытаясь отвлечь его от грустных мыслей. – А помнишь, ты рассказывал про двух братьев у вас в гимназии?

Дед начинает излагать, сначала неохотно, потом все больше оживляясь.

– У нас в классе были два брата, Кроник Лев и Кроник Яков. Они такое вытворяли! Боже мой! Особенно Кроник Лев. Настоящий паяц. Кроник Лев поднимает руку. Что тебе? “Кроник Яков хочет выйти”. А почему ты поднимаешь руку? Он задумывается и садится. Через полчаса вдруг вскакивает и радостно кричит на весь класс: “Он мне сказал!”

Дедушка смеется. Джей тоже из вежливости улыбается, хотя ей непонятно, почему это смешно. Тем более что эту историю она слышала сто раз.

– Ты представляешь, – говорит дед, – прошло полчаса, все забыли, о чем речь, он вдруг вскакивает и кричит: “Он мне сказал!”

Дедушка смеется так, что на глазах у него появляются слезы. Джей видит, как они скапливаются за стеклами двойных очков в тонкой золотой оправе. Два пустых аквариума без рыбок.

Гимназия, в которой учился дедушка, была специально придумана для русификации еврейских детей. В дедушкином случае русификация сработала безотказно. Он постарался вычеркнуть из памяти все, чему его учили в хедере<sup>9</sup> и ишиботе, практически выучил наизусть и мог цитировать страницами русскую прозу и стал преподавателем русской литературы в военно-морском училище, где на его еврейский акцент никто не обращал внимания до самого 1948 года. Они с бабушкой прекрасно владели русским, но все-таки для обоих это был второй язык. Это можно было заметить по словоупотреблению – никогда не ошибочному, но иногда архаическому. Как-то Шуша приехал на дачу из Москвы на велосипеде. Дед уважительно посмотрел на него и сказал: “Я тоже в молодости ездил на велосипеде. Ты знаешь, я был удивительный гимнаст”. В 1960 году сказали бы “спортсмен”.

– Расскажи, как ты поступал в гимназию, – говорит Джей. Дедушка доволен.

– Вместе со мной поступал один мальчик из местечка. Он сам выучил по книгам русский язык и на вступительном экзамене читал стихи Пушкина. Читал прекрасно, с выражением. Единственная проблема – он не знал ударений, поэтому произносил: “Ночной эфир струит

---

<sup>9</sup> Хедер – начальная еврейская школа.

зэфир”. Очень талантливый мальчик. Геометрию тоже выучил сам, правда, слова *maximum* и *minimum* он произносил “тахитит” и “типтит”. Его, конечно, приняли.

– При индийского петуха расскажи, – просит Джей.

– У нас в гимназии был очень строгий учитель истории. Всем ставил только тройки и двойки. Объяснял это так: “Бог знает на пять, учитель на четыре, а ученик в лучшем случае – на три”. Когда ученик задумывался, учитель спрашивал: “Что ты молчишь?” Ученик отвечал: “Я думаю”. На что учитель медленно, почти по слогам произносил одну и ту же фразу, которую все мы знали наизусть: “Думают индийские петухи и се-на-то-ры. Ты не сенатор. Следовательно, ты...” – и весь класс хором: “Индийский петух!”

– Расскажи, как вы отрезали голову царя на портрете и приклеили ее к ногам.

– Это длинная история. В другой раз.

– Ну, тогда про Талмуд.

– Что там рассказывать. Я всю жизнь старался выбросить всю эту чепуху из головы. Нам было по девять лет, а мы должны были учить наизусть “Песнь песней”. Мальчики читали и заливались краской.

– А девочки? – интересуется Джей.

– О чем ты говоришь? Какие девочки в хедере!

Дед замолкает, видно, что он мысленно переводит с иврита. Потом медленно, с паузами произносит:

– Твой живот... круглая чаша, в которой не кончается вино; твое... чрево – сноп пшеницы... окруженный лилиями; груди твои... два козленка... А учитель нам объясняет: “груди твои” не надо понимать буквально, имеются в виду Исаак и Авраам.

Джей смеется.

– У нас даже был такой анекдот, – продолжает дед. – Ученик приходит в хедер сонный, с опозданием на час. “Что с тобой?” – спрашивает учитель. “Да вот, всю ночь пытался разобраться, где Исаак, а где Авраам”.

Теперь оба смеются.

– Не понимаю, – говорит Джей. – Я бы лично предпочла учиться в хедере, чем в советской школе.

– Ты не понимаешь! – возмущается дед. – Это схоластика! Средневековая наука. У них даже имя Бога нельзя было произносить вслух.

– А у Бога есть имя? – спрашивает Джей. – Какое?

– Ну... ммм...

Дед шевелит губами. Джей смотрит на свой “Ухер”. Стрелка громкости не шевелится, звука нет.

## Гостья ниоткуда

Семья дедушки Нолика была одной из самых бедных в местечке Глуск. Еды всегда не хватало. Привычки голодного детства сохранились у дедушки даже в сравнительно сытые 1960-е. Летом на даче, когда вся семья садилась ужинать, он быстро говорил:

– Я не голодный, мне не кладите!

Его уговаривали. Он в конце концов соглашался:

– Ну хорошо, тогда совсем чуть-чуть.

Киевская семья бабушки Ривы была богатой. Дед Ривы по матери, Бер-Ицхок, владел стекольными заводами и конюшней. Дед по отцу, реб Мендл, был раввином. Его сын, бабушкин отец, Израэль, тоже был раввином. Это значит, что с утра до вечера он должен был сидеть и читать Талмуд, а все хозяйство – дети, еда, стирка, ремонт крыши и тому подобные бездуховные материи – лежали на могучих плечах его жены Сура-Ханы.

У Ривы было три сестры и два брата. Рива была старшей из дочерей, потом шла рано умершая Блума, потом Соня, за ней самая младшая, Рахиль. Старший брат Арье был на год старше Ривы, а Залман – на год младше Сони.

В 1924 году Израэль, вместе с тысячами других евреев из Восточной Европы, решил переехать в Палестину, где после Первой мировой войны кончилась власть Османской империи и начался “Британский мандат”. Сура-Хана и Залман поехали с отцом. Залман, который, примерно как дедушка Нолик, считал свое пребывание в хедере пыткой, а Талмуд – средневековой схоластикой, по дороге передумал ехать в Палестину. Он отправился в Ригу, оттуда в Неаполь, там сел на пароход “Адриатик”, где познакомился с другими эмигрантами, в частности архитектором Олтаржевским, и доплыл до Нью-Йорка. Там он вскоре основал журнал *Yiddishe kultur*.

Остальные сестры и брат Арье к этому времени жили уже в Москве. Соня была связана с театром “Габима”. Он возник в Вильно в 1913 году, а в 1917-м его создатель Давид Цемах попросил Станиславского помочь перевезти театр в Москву. Тот выделил им студию во МХАТе и назначил руководителем Вахтангова. Идею еврейского национального театра поддерживал нарком по делам национальностей с партийной кличкой Коба, но к 1948-му понял, что это была ошибка молодости.

В 1922 году, незадолго до смерти, Вахтангов поставил в “Габиме” знаменитый спектакль “Диббук” с декорациями Натана Альтмана и музыкой Юлия Энгеля. В 1926 году “Габима” отправилась в европейское турне, а в конце того же года начались гастрольные выступления в США. В июне 1927 года большая часть актеров, включая Соню и ее мужа Бен-Хаима, вернулась в Европу, а оттуда переехала в Палестину. В первые годы между Москвой и Иерусалимом шла бурная переписка. Самое первое письмо из Палестины было встречено московскими родственниками с некоторым недоумением.

“Дорогие, – писала Сура-Хана, – у нас большое несчастье, нас обманули! С деньгами было трудно, мы решили купить мешок картошки, чтобы продержаться до весны. Когда же мы притащили с рынка этот тяжеленный мешок домой и развязали его – о ужас, сверху лежало несколько картофелин, а остальное – апельсины!”

В конце 1920-х родственников за границей уже надо было скрывать, и переписка прекратилась. Но в 1965 году произошло сенсационное событие – Соня внезапно объявилась в Москве. Ее сестры и брат не видели ее около сорока лет и даже не знали, жива ли она. Соня каким-то образом узнала телефоны родственников, позвонила всем, и встреча была назначена на субботу, 6 июля, у Шульцев на Русаковской – там, по крайней мере, была одна большая комната и стол, за которым все могли поместиться.

Все волновались и никак не могли решить, как нужно одеваться для такой встречи. Бабушка Рива достала из потайной шкатулки серебряную брошку с маленькими синими камешками и приколола к своему строгому серому платью. Мама Валя надела Шушино любимое темно-зеленое платье с желтыми листьями и накрасила губы, чего почти никогда не делала. Мужчины по случаю жары были в светлых рубашках без пиджаков. Одна только Соня, маленькая горбатая старушка с умным пронизательным взглядом, выглядела совершенно спокойной. На ней были пыльные сандалии, длинная юбка и легкая полувоенная рубашка, обе песочного цвета. Такие рубашки Шуша позднее обнаружит в магазине *Banana Republic* в Лос-Анджелесе.

Когда все расселись, начался разговор. За полвека советской власти у московских родственников не могло возникнуть опыта общения с иностранцами, тем более с иностранными родственниками, которых у советских граждан по определению быть не могло. Они всё никак не могли найти правильную интонацию и не решались задавать вопросы. Вопросы в основном задавала Соня. Шушу поразило не столько то, что она говорила, сколько ее русский язык – свободный и лишенный советизмов, школа Вахтангова давала себя знать. Ей было интересно все – как они живут, что делают, о чем думают. Серьезно отвечать на ее вопросы родственники не решались. Говорили: “Ну, Соня, ты ж понимаешь...” Тогда она обратилась к Шуше:

- Ты что-нибудь знаешь про еврейские традиции и обряды?
- Конечно, – самоуверенно ответил третьекурсник.
- Знаешь, например, что значит “лехаим”?
- Конечно, заливная рыба.

На лицах дедушки и бабушки, которые всю жизнь добросовестно уберегали внуков от “схоластики иудаизма”, появилось выражение ужаса.

Соня засмеялась:

- Придется тебе приехать к нам и узнать, что такое “лехаим”. Заодно поработаешь в кибуце.
- А что такое кибуц?
- Приедешь – узнаешь. Я пошлю вам с Джей приглашения. Может быть, даже заработаете немного.
- Соня! – воскликнул Шуша. – Ты не понимаешь, где мы живем! Нас никто не отпустит за границу.

– Дорогой мой, – ответила Соня, – я знаю, где вы живете, немножко лучше, чем ты. Времена меняются. Сейчас это уже можно. Многие мои знакомые съездили к родственникам в Израиль и даже вернулись обратно.

В этот миг привычная картина мира в голове Шуши стала рассыпаться.

Мир расширился до бесконечности. Границы СССР утратили статус “нерушимых”. Они с Джей могут полететь в гости к двоюродной бабушке. А когда придет время возвращаться, кто сможет заставить их лететь обратно в Москву, а, скажем, не к двоюродному дедушке в Нью-Йорк? Или в Йель, поступать на архитектурный факультет, где учился Ээро Сааринен, построивший легендарный терминал *TWA*<sup>10</sup>? Когда Соня уехала, родители попытались нейтрализовать опасную информацию.

– К счастью, вас никто не отпустит, – говорили они. – А если каким-то чудом и отпустят, подумайте, что будет с нами. У нас тоже есть несколько знакомых, которые съездили в Израиль и вернулись, но это все пенсионеры, им терять было нечего. А мы оба потеряем работу. Не портите жизнь себе и нам!

Контрпропаганда сработала. Приглашение Сони осталось без ответа. Идея, зароненная в сознание Шуши, зрела медленно, и в терминал *TWA* он попал только через шестнадцать лет.

---

<sup>10</sup> Сааринен Ээро (*Saarinен Eero*; 1910–1961) – американский архитектор финского происхождения. *TWA* – терминал одноименной авиакомпании в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Построен в 1955–1962 гг.



## Отец

Дедушка Нолик, переживший войну, революцию, погром, террор и гибель любимого брата, готовил сыновей Даню и Арика к будущим жизненным катастрофам не совсем обычным способом – он развивал в них скорость реакции и чувство юмора.

– Кто первый скажет, сколько будет тридцать семь умножить на три? – неожиданно спрашивал он.

Эту игру “кто первый” или “кто лучше” близнецы усвоили в раннем детстве и потом продолжали ее уже без провокаций.

– Я старше! – кричал Даня.

– На какие-то пять минут, – возмущался Арик. – Зато я лучше знаю математику.

– Кому нужна твоя математика!

– А кому нужен твой немецкий язык!

– А вот когда в Германии победит советская власть, тогда узнаешь.

У близнецов часто менялось настроение. Было ли это следствием Киевского погрома, когда Рива и Наум, держа в руках двух новорожденных младенцев, бежали всю ночь из горящего города, или результатом генетической лотереи – науке установить не удалось.

– Не подает, – объяснял Арик, когда остроумный ответ не приходил ему в голову. При этом он показывал куда-то в нижнюю часть живота, как если бы там у него находился генератор энергии. А если у Дани “не подавало”, он просто замыкался в себе и избегал общения.

Таковыми перепадами настроения особенно отличались английские поэты XVIII века. Даниил Шульц перевел “Оду Меланхолии” Китса на немецкий, но немцы ничего не поняли, меланхолия была им неизвестна, и перевод остался неопубликованным. Когда читаешь воспоминания о Маяковском, всегда кажется, что речь идет о двух разных людях. В одних это человек с мгновенной реакцией, заражающий всех энергией, непрерывно выдающий блестящие экспромты. В других – мрачный, неконтактный, депрессивный. Возможно, именно эмоциональное сходство с Маяковским помогло Даниилу Шульцу стать “лучшим переводчиком Маяковского на немецкий язык”, как писал литературный критик газеты *Süddeutsche Zeitung*.

В мрачные периоды Шульц-старший избегал людей. Но для Шульца-младшего в них была своя прелесть. Вот ему пять лет, отец лежит в кровати, а мама говорит, что папа плохо себя чувствует. Шуша залезает к нему в кровать, и папа два часа подряд поет песни своей молодости – холодные волны вздымает лавиной, там вдали за рекой, мы красная кавалерия. Восторг! Его даже не повели в ненавистный детский сад.

Раздвоенность отца проявлялась во всем – с одной стороны, в уважении к авторитетам, в стремлении к высокому покровительству, в страстном желании продвинуться на самый верх советской иерархии, с другой – в невозможности не высказать вслух пришедшую в голову любую, пусть даже святотатственную, остроту. Это делало его желанным гостем на любых застольях.

– Он был павлин, – рассказывала потом подруга родителей Муха. – Невозможно забыть. Вот все садятся за стол, и Даня начинает распускать хвост. Это было прекрасно. Если представить себе эти годы без твоего отца, они были бы намного скучнее. Весь наш скепсис и цинизм по поводу власти никогда бы не был осознан и сформулирован, если бы не было Дани.

Один из секретов его юмора – способность видеть в словах не то, что всем кажется очевидным. В слове “овощ”, например, он видел “О, Валя! О, Щеголева!” – Щеголева была девичья фамилия Шушиной матери. Можно было бы предположить, что это было навеяно Маяковским, который в слове “люблю” видел аббревиатуру ЛЮБ – Лиля Юрьевна Брик, но это скорее говорило о сходстве их мышления. Оно заметно и в скорости реакции. Когда Даню спросили

про его впечатление от фильма Бондарчука “Война и мир”, он не задумываясь ответил: “Актерская работа замечательная, съемки удивительные, режиссура – первый класс. Роман – говно”. Его хохмы и сатирические стишки ходили по рукам.

1949 год. В мире происходят серьезные вещи. Иосиф поссорился с Иосипом.

“Стоит мне пошевелить пальцем, не будет Ти- то”, – сказал Сталин. Пошевелил – не получилось. Тито ответил: “Сталин. Перестаньте посылать ко мне убийц. Мы уже поймали пятерых, одного с бомбой, другого с винтовкой. Если не перестанете присылать убийц, то я пришлю в Москву одного, и мне не придется присылать второго”.

Папа приезжает на дачу после партсобраний, возбужденный.

– Знаешь, кто наш главный враг? – спрашивает он пятилетнего Шушу.

– Америка?

– Нет, – радостно произносит отец. – Югославия!

Слово “Югославия” Шуше не говорит ничего. Впрочем, “Америка”, про которую часто говорят по радио, тоже.

Вечером отец возится на террасе, стараясь вставить темно-красную книжку в черную плоскую металлическую коробку с выдвижной крышкой. Книжка слишком толстая, и крышка на вдвигается.

– Что это за коробочка? – спрашивает Шуша.

– Это кассета от старого фотоаппарата. Там хранился стеклянный негатив, чтобы на него не попал свет.

– А что ты туда засовываешь? – спрашивает Шуша.

– Партийный билет, – говорит отец с гордостью. – Сегодня получил.

– Он от света может испортиться?

– Нет-нет, я просто хочу, чтобы он был в полной сохранности.

– А у тебя есть еще одна кассета?

– Есть. А что?

– Я хочу спрятать туда свой билет.

– У тебя есть?

– Я сделаю. Дай мне бумагу и ножницы.

Отец достает из портфеля еще одну кассету, пачку белой бумаги и ножницы, с которыми он никогда не расстается. Такую бумагу купить нельзя, ее выдают членам Союза писателей. Шуша разрезает лист пополам, складывает обе половинки еще раз пополам, получается книжка с четырьмя страницами. Потом цветными карандашами начинает перерисовывать папин партийный билет. К вечеру оба партийных билета благополучно заправлены в кассеты.

– Ты мне расскажешь сказку? – спрашивает он отца, уже лежа в кровати.

– Я сочинил тебе песню. Спеть?

Ладно. Отец поет:

Вот стоит на посту часовой,  
Дни и ночи страну хранит.  
Спи спокойно, мой дорогой,  
Потому что Сталин не спит.

Шуша засыпает счастливый.

Пять лет спустя на открытии Кольцевой линии метро Шуша с родителями поднимается по эскалатору. Отец смотрит на вертикальные светильники, заканчивающиеся бронзовыми коронами, и громко произносит: “На полной скорости движемся к монархии”. Это не столько

острота, сколько точное наблюдение, все еще святотатственное: Сталин уже умер, но хрущевская кампания против “излишеств” еще не началась. Мама испуганно шепчет: “Тише! Тише!”

Любовь отца к Сталину постепенно угасала. Шуша вспоминает, как он пришел домой из школы в день смерти Сталина. Мать сидит на диване и плачет. Диван покрыт колючим ковром. На матери темно-зеленое платье с желтыми листьями. Перед ней стоит отец в сером полосатом пиджаке с большими лацканами, углы голубой рубашки выпущены поверх пиджака. Он смотрит на мать.

– Что ты плачешь? – холодно спрашивает он.

– Ты не понимаешь! – отвечает мать, вытирая платком глаза. – Нас теперь сомнут! Кто нас защитит?

День, когда Шуша понял, что унаследовал от отца перепады настроения, он запомнил навсегда: 15 сентября 1959 года. Шуша сидел дома на диване. Отец вышел из-за занавески, отделяющей его альков от общей комнаты, и спросил:

– Что такой грустный?

– Да так, что-то настроение плохое.

Отец понимающе кивнул и, помолчав, добавил:

– Когда выпадет снег, все будет хорошо.

Первый снег выпал 7 ноября. Настроение заметно улучшилось.

1 января 1964 года отец подарил ему ежедневник. На серой клеенчатой обложке была выдавлена надпись “Центральный дом литераторов”. Каждая из 365 страниц была разлинована. На авантитуле была цветная фотография, но не красивого фасада ЦДЛ с улицы Воровского и даже не унылого фасада, с керамической плиткой телесного цвета, с улицы Герцена. Это была фотография Красной площади, снятой, судя по ракурсу, с Никольской башни. На фотографии виден мавзолей, Сенатская и Спасская башни, чуть левее – Собор Василия Блаженного, а еще левее вдали – высотка на Котельнической, в которой через два года появится кинотеатр “Иллюзион”, а еще через год Шуша посмотрит там трогательный шведский фильм “Эльвира Мадиган” с музыкой Моцарта. Если бы он увидел этот фильм на семь лет раньше, он, возможно, попытался бы уговорить Рикки, свою тогдашнюю любовь, бежать с ним в леса, а потом совершить совместное самоубийство, как это сделали герои фильма. К счастью, фильм запоздал, а к 1967 году Шуша уже был отличником в МАРХИ, собирался жениться на однокурснице, и трагическая романтика его больше не привлекала.

1 января 1965 года он по привычке открыл дневник. На первой странице, как и на многих других, уже была прошлогодняя запись. Подумав минуту, он начал писать под ней. После нескольких лет такого дописывания “день в день” он с удивлением обнаружил, что новая запись иногда дословно повторяет одну или несколько предыдущих на той же странице. Некоторые страницы содержали фразы “упадок сил”, “день неудач”, “ничего не происходит” и “всё плохо”. Чаще всего они приходились на сентябрь и март. В оптимистических записях упоминалось получение денег, новые романтические знакомства, перечисления фейерверка событий за один день, мечты и планы, часто нереалистические.

Когда Шуша рассказал отцу о своем открытии, тот был поражен.

– Гениально! – воскликнул Даниил. – Записывать мысли одного числа, но разных лет на одну страницу. Как ты к этому пришел?

– Случайно. Дневник за 1964-й кончился, а заводить новый не хотелось. А почему ты удивляешься? У тебя самого состояние связано с временем года. Помнишь, ты мне сказал: “выпадет снег, и все будет хорошо”?

– Да, но ты пошел дальше. Если у тебя нерабочее состояние, ты можешь просто пролистать вперед и узнать, какого числа начнется подъем. Этим дневником ты себя уже практически вылечил.

После этого разговора Шуша стал внимательно изучать свой сильно распухший от вклеенных и вложенных страниц ежегодник и отмечать синим маркером все печальные записи, а желтым все позитивные. Типичный сентябрь – всё плохо, октябрь – уже виден просвет, декабрь – эйфория.

От отца Шуше достался еще один секрет – в классической форме отцовского абсурдизма: “Чтобы сделать любое дело, надо приложить усилий в два раза больше, чем нужно, чтобы сделать это дело”. Потом много раз Шуша убеждался в точности этого афоризма.

## Jewish Girl

У нее было нормальное русское имя, но все называли ее Джей. В русском контексте имя воспринималось скорее как мужское. В раннем детстве она называла себя “кот Мурзик” и говорила о себе в мужском роде: я пришел, я проголодался. Потом, правда, стала считать себя “свинкой” и коллекционировать картинки и игрушки, изображающие свинок. Их у нее набралось не меньше тридцати.

Вообще-то, имя было Джей-Джи. Имелось в виду *JG, Jewish Girl*, хотя еврейской крови в ней была только половина, и то не по матери, и на еврейку она была совсем не похожа. “Джи” со временем утерялось.

От нее исходила удивительная легкость. Не красавица, но взгляд ее темных глаз, “цвета неочищенной нефти”, как говорил Социолог, завораживал. Когда шестнадцатилетнюю Джей увидел режиссер Ложкин, к тому времени уже перетрахавший всех своих несовершеннолетних актрис, он задумчиво произнес:

– Есть еще девушки, на которых можно жениться.

Но на нее Ложкин произвел скорее отталкивающее впечатление. У нее вообще была способность сразу видеть, нужен ей человек или нет, – не по делу, а в смысле музыкальной гармонии, что ли. Потом эта способность пропала, и последние несколько лет своей жизни, к радости мужа и огорчению брата, она провела с теми, кто был нужен по делу. Странно, потому что единственным делом, которым она в то время серьезно увлеклась, было знакомство с людьми, полезными для дела.

Теплый свет, исходивший из ее глаз, постепенно угасал, взгляд становился холодным и оценивающим. Она теперь учила английскому языку “детей советской буржуазии”.

– Буржуазия? – возмущался Социолог. – Какая может быть буржуазия без собственности?

В 1975-м, когда “Битлз” пели в Кремлевском дворце съездов, а попасть туда было невозможно, Джей решила, что она попадет. В ее глазах снова появился огонек. Яркий, но холодный. Добыла где-то прямой телефон администратора Дворца съездов. Позвонила.

– С вами говорят из Всемирного Совета Мира, – сказала она первое, что пришло ей в голову.

– Откуда?

– Из Всемирного Совета Мира.

Долгая пауза.

– От Иванова, что ли?

– Ну да!

– А, ну так бы и сказали. С Ивановым мы хотим дружить. Чего он хочет?

– Нам нужно тринадцать билетов на “Битлз”.

– Ммм, тринадцать не обещаю. Как вас зовут?

– Лена, – Джей назвала первое попавшееся имя.

– Леночка, можете называть меня просто Михаилом. Дайте ваш телефон. Я вам позвоню, а вы пока составьте список. Вписывайте пока всех, но тринадцать не обещаю. И скажите Иванову, что он нам будет должен, и не тринадцать, а все тридцать.

Следующие три дня Михаил с Леночкой перезванивались по пять раз в день. Иванов оказался директором кинотеатра “Мир”, где, как выяснилось, тоже бывали закрытые просмотры. Шушу она включила в список, но тот категорически отказался идти.

– Всех вас будут ждать у входа с наручниками, – сказал он, но Джей была в эйфории, и такая мелочь, как наручники, ее остановить не могла.

В день концерта все, кто был в списке, собрались, как им было сказано, у Кутафьей башни. Ждали Джей. К ним подошел охранник в форме и спросил, кто из них Елена.

– Она опаздывает, – сказали ему.

– Ждать никого не можем. Если хотите попасть, идите за мной.

Они пошли. Джей так и не появилась. Она, оказывается, пришла на час раньше и все это время болтала с Полом Маккартни. Он подарил ей диск *Abbey Road*, на котором расписались все четверо, каждый под своей фотографией, а Пол еще приписал *JG, I love you*. Она потом забыла этот диск в электричке.



## Анька: Загорск

Мой отец, композитор-авангардист, тоннами поглощал книги по психологии.

Сначала это была психология творчества, типа “как стать гением”. Все у него было в порядке: секретарь Союза композиторов, дача в Пахре, черная “Волга”... Но гением он не был. В их компании должность гения уже была занята Арчилом, тот слезать с нее не собирался. Потом пошли книги о психологии секса и отношений. С мамой у них всегда были проблемы, они вечно запирались в его кабинете и громко эти отношения выясняли. В таких случаях я надевала наушники и включала на полную громкость кого-нибудь из любимых (настоящих!) авангардистов – Берга или Веберна. Когда родители наконец развелись, мне было четырнадцать. Тут папаша переключился на книги о детских травмах. Чтобы у меня не возникло травмы от потери “фигуры отца”, всюду таскал меня за собой. Четыре года “полового созревания” я провела в компании друзей отца, сорокалетних мужчин, часами разговаривающих о пифагорействе, эолийском строе, додекафонии и параллельных квинтах.

Все они были уверены, что я тайно влюблена в Арчила (что было правдой) и что скоро он на мне женится (что было шуткой). Он был *perfect male*, вокруг него не было не влюбленных в него женщин. Сначала я влюбилась в его музыку, что-то среднее между Пяртом и грузинским хоровым пением, а потом выяснилось, что это была сублимация, на самом деле мне нужен был он сам – такой бритый наголо Жан Маре, с потухшей трубкой в зубах, в замшевых пиджаках. Когда мне исполнилось восемнадцать, я поняла, что надо действовать. Для грузина дочь друга – это святое, лишить ее невинности – грех. Значит, надо было избавиться от этого препятствия – невинности. Но как и с кем? Ровесники мужского пола казались мне дебилами. Мысль о физическом контакте с ними вызывала отвращение. Потом меня осенило: совсем не обязательно, чтобы это было правдой, главное – сказать.

Как-то мы остались вдвоем в папашинной квартире, и я произнесла заранее отрепетированную фразу:

– Ах, Арчи, я так тебя люблю, что ради тебя даже лишилась невинности.

Дальше все было как в плохом кино. Он грубо схватил меня за руку и потащил на улицу. Молча впихнул в такси и всю дорогу до его дома не произнес ни звука. Заговорил только, когда мы вошли в комнату:

– Тебя раздеть или ты сама разденешься?..

На следующий день вся компания должна была, как всегда, собраться у папы. Я дрожала от страха: как он будет себя со мной вести и как мне себя держать? Но он таким же ласковым голосом попросил чайку и после этого ни разу не взглянул на меня. Я поняла, что проиграла. Единственный человек, которому я рассказала об этой истории, была Джей. Она слушала с широко раскрытыми глазами, а потом сказала:

– Где-то под Загорском есть бабка, которая умеет привораживать.

– Узнай где! Я поеду. Мне нужно.

– Я с тобой.

– А тебе-то зачем? Привораживать?

– Нет, – говорит Джей, – скорее наоборот, но я не для этого. Мне интересно.

Через неделю мы выходили из электрички в Загорске. Лето. Пыль. Мухи.

Стоит разбитое такси. Мы растерянно оглядываемся по сторонам. Окно водителя открывается:

– Вам к бабке?

Мы обе застываем от изумления, и Джей вдруг принимается руководить:

– К бабке.

– К дальней или ближней?

– А чем они отличаются?

– Сестры. Старшая – подальше живет. Она и порчу навести может. А младшая, та только привораживать. Но зато ближе и всего сорок.

– Нам без порчи.

– Значит, порядок такой. Даешь мне сорок рублей. Я везу к ближней бабке и жду, сколько надо, а потом везу обратно на вокзал.

– Сорок за двоих?

– Да, там еще бабке заплатить придется, но там не много, рублей пять с каждой, ближняя не жадная.

– Поехали, – решительно говорит Джей.

У меня, разумеется, сотня припасена.

– Я еду по разбитой дороге, – говорю я, – в разбитом такси и с разбитым сердцем.

Джей фыркает:

– Давай без литературных красот.

Всю остальную дорогу трясемся молча.

– Мне засвечиваться нельзя, – говорит таксист. – Я тут машину поставлю, а вы направо за этот колодец. Там увидите, машины стоят у избы.

Мы поворачиваем направо за бревенчатый колодец с железной ручкой и ржавым ведром. Прямо перед нами семь или восемь машин. Два “мерседеса”, черный “ситроэн”, такой, как у Рихтера, и еще какие-то незнакомые. В каждой шофер. Изба ветхая, вот-вот развалится. Джей с трудом открывает скрипучую дверь. Внутри темно, в глубине можно различить какое-то мерцание. Когда глаза привыкают к темноте, я понимаю, что это блеск бриллиантов, – на лавке вдоль стены сидят хорошо одетые женщины. От другой стены отделяется фигура: сгорбленная бабка в калошах подходит к нам.

– Маня вон в той комнатке принимает, – говорит она ласковым голосом, – а я ей помогаю. Давайте мне, доченьки, по пять рублей и садитесь на лавку. Я все Мане говорю, что ж ты по пять рублей берешь, смотри, на каких машинах приезжают. А она говорит, нельзя. А деньги все мне отдает. Если, говорит, больше брать и себе оставлять, сила пропадет. Ну я, конечно, на эти деньги ей продукты покупаю, только она ест мало.

– Она одна пойдет, – говорит Джей. – Я просто провожаю.

Через сорок минут я вхожу в комнатку. Маня, в телогрейке и валенках, несмотря на лето, сидит в углу на лавке под иконой, пристально смотрит на меня.

– А ты, доченька, и не говори ничего, я все вижу. Тебе приворожить надо. Ты мне только скажи, ты его видишь когда-нибудь?

– Почти каждый день.

– Тогда пойдешь сейчас в селпо, налево за колодцем, еще пять домов. Купи там колотый сахар, двести грамм. И приходи ко мне. Без очереди.

Я высказываю в сени, хватаю Джей, и мы несемся в селпо. На всякий случай беру килограмм колотого сахара. Его заворачивают в кулек из мятого пожелтевшего обрывка “Литературной газеты” за 26 января 1937 года, где можно прочитать “...антисоветского троцкистского центра – обвини...”. Мы бежим обратно, и я вхожу в комнатку без очереди.

– Зачем столько купила? – сердито спрашивает Маня. – Сказала тебе: двести грамм. Вот это оставь, а это я Фекле отдам. Теперь смотри, здесь святая вода, заговоренная.

И дальше нараспев:

– Кусочек сахара отколешь, святой водичкой попросишь и в чай ему бросишь. Как он отхлебнет, так с места не встанет, на тебя посмотрит и глаз отвести не сможет. А если какая одежда его попадется, то и ее попроси. Еще сильнее приворожишь.

Я схватила пакет и бутылочку, в сенях махнула рукой Джей, и мы бегом обратно к такси.

## Глобус

У Розалии Самойловны Тартаковской был глобус. Когда маленький Шуша сталкивался с ней на лестнице, она всегда говорила:

– Деточка, зайди ко мне, я дам тебе покрутить глобус.

Он заходил, потому что был послушным ребенком, но глобус его не очень привлекал. Его и правда можно было крутить, но сколько можно крутить глобус.

Все в ее комнате, кроме глобуса, было розовым. Долгое время Шуша был уверен, что Розалию называли под цвет комнаты.

Милочка, дочка Розалии, была учительницей английского. Когда Шуше исполнилось девять, он стал два раза в неделю ходить к Тартаковским на первый этаж, заниматься с Милочкой английским в ее крошечной комнате. Первый урок был самым трудным, надо было произнести *Pete has a hat in his hand*. От этого “хэ-хэ-хи-хэ” заплетался язык. Потом пошло легче. Милочка казалась Шуше идеалом женской красоты – маленькая, худая, с черными глазами, и если бы не вечная сигарета в тонких пальцах, была бы похожа на кузину Дину, его предыдущий идеал женской красоты.

Когда патологически непрактичные родители затеяли ремонт, который продолжался два года и погрузил семью в бесконечное болото долгов, находиться в квартире стало невозможно. Шушу отправили сначала на Таганку к бабушке и бабушке, маминым. Раскладушку в их единственной комнате поставили под иконой Василия Кесарийского с лампадой, в которую рукодельник дедушка Вася сумел ввинтить крохотную лампочку Ильича. Потом, когда выяснилось, что конца ремонту не видно, Шушу предложили взять к себе родители Физика, считавшие, что “мальчикам будет веселее вдвоем”. На Таганке десять семей пользовались одним туалетом, одной кухней и одной ванной, предназначавшейся, разумеется, не для мытья, а для стирки. Семья Физика жила в гигантской сталинской квартире из четырех комнат, где на стенах висели полотна подпольных абстракционистов, а в гостиной на тщательно натертом паркетном полу стоял концертный рояль.

Мать никуда уехать не могла, ей надо было ругаться с малярами, паркетчиками, кафельщиками, электриками, столярами и водопроводчиками, которые изобретали всё новые проблемы и взвинчивали цены. Только в страшном сне можно было представить себе близорукую и сердобольную маму Валу в роли прораба.

Чтобы положить паркет, убеждали ее паркетчики, надо сменить прогнившие доски пола. Чтобы повесить привезенные из Болгарии люстры, говорил ей интеллигентный электрик Эдуард Юрьевич, надо было штробить потолок.

Эдуард Юрьевич, сильно отличавшийся от прочих маляров, паркетчиков, водопроводчиков и кафельщиков, вежливо объяснял Вале, что когда он будет штробить, в квартире будет такое количество ядовитой известковой пыли, что им всем лучше на один день уехать. Шуша все еще жил в квартире Физика. Валя с Джей решили переехать на один день к Мухе. Отец и так под любым предлогом сбегал из дома. Главной проблемой для него был дневной сон, без которого он не мог функционировать, а в квартире стоял грохот. На помощь пришла Розалия Самойловна.

– Данечка, – сказала она, – комната моего покойного мужа стоит совершенно пустая. Вот тебе ключ, ты можешь приходить в любое время дня и ночи и спать в его комнате сколько твоей душе угодно. Я уже постелила там чистое белье.

Это было спасеньем. Он уходил туда поспать днем, а теперь, по совету Эдуарда Юрьевича, переехал туда на сутки. Когда ремонт наконец закончился, Шуша и Джей получили по отдельной, хотя и крохотной, комнате, а Даня – вполне приличный кабинет. Валя довольствовалась диваном в гостиной. Даня по привычке продолжал ходить спать к Тартаковским днем.

Иногда ночью. В какой-то момент перенес туда пишущую машинку. Потом выяснилось, что Милочка ждет ребенка.

## Анька: снова Загорск

Мне было забавно смотреть, как Шуша и Джей становились стихийными ницшеанцами. Даниил Наумович был для них *Übermensch*, а у Валентины Васильевны была “рабская психология”. Все в ней раздражало. Ремонт все никак не заканчивался, с рабочими торговаться она не могла и переплачивала вдвое. Писала себе на бумажках список дел на каждый день, редко их выполняла, и эти дела потом много месяцев переползали с бумажки на бумажку. Они делали то же самое, но считали это “свободой от догматизма”.

Мать была очень критична к себе, к своей внешности и к своим способностям. Никогда не могла написать статью, потому что, написав первую строчку, сразу начинала ее редактировать и переписывать. Отец, наоборот, мог в любой момент выдать любое количество перевода или посредственного собственного текста и всегда был доволен. Но, конечно, больше всего детей раздражала ее преданность мужу, который изменял ей направо и налево, почти не скрываясь. А что она должна была сделать – хлопнуть дверью и уйти? Они лишились бы семьи, дома и средств к существованию, ведь сама она зарабатывала во много раз меньше отца, что тоже в их глазах снижало ее статус.

Потом, когда они начали сами что-то зарабатывать и жить отдельно, все изменилось. Прямо по Марксу, бытие определило сознание. Мама стала хорошей, она их подкармливала, когда они забежали домой, а работы ушедшего из семьи отца стали “чересчур советскими”. Он по-прежнему дарил им все свои переводы и сочинения с трогательными надписями в стихах, а они с кислой мордой выдавали вымученные комплименты. Этот *Übermensch* не мог жить без обращенного к нему восхищенного взгляда, поэтому ушел к черноглазой Милочке, там этот взгляд выдавали ему круглые сутки.

Одно лето мы жили большой компанией в Коктебеле. Захожу как-то днем к Шульцам – Шуша лежит на кровати и читает “Былое и думы”.

– Купаться не идешь?

– Нет, буду читать.

На следующий день опять захожу – он опять на кровати, опять “Былое и думы”. Рядом на одеяле разорванный конверт.

– Купаться не идешь?

– Нет.

– Что пишут? – показываю на конверт.

– Да так, ерунда. У отца ребенок родился.

Ничего себе ерунда. Два дня подряд лежать на кровати и читать Герцена, причем одну и ту же главу, где Наталья собирается уйти к Гервегу.

На третий день – всё. Герцен отложен, пошел с нами купаться. Пережил. С Джей все оказалось сложнее.

Я вернулась в Москву, звоню ей. Она не отвечает. Звоню неделю – не отвечает. Потом она звонит. Слышно плохо, голос странный, стоит какой-то звон.

– Ты откуда?

– Из Загорска.

– Что ты там делаешь?

– Я у бабки.

– О господи! Кого привораживала?

– Я не привораживала. Мне очень плохо. Можешь за мной приехать?

– А что ты там делаешь? Откуда ты звонишь?

– Я была у бабки. Я сказала ей, что мне плохо, и они меня окрестили. Я там уже неделю.

– О господи! Откуда ты звонишь?

– С вокзала. Из автомата.

– У тебя деньги есть на билет?

– Есть.

– Покупай билет и садись в электричку. Зачем мне туда ехать? Я тебя встречу.

Долгое молчание. Слышен колокольный звон.

– Ладно.

Всё. Гудки. Повесила трубку. Какая же я сволочь! Надо было за ней поехать. Но теперь уже поздно.

Провела на Ярославском два часа. Одна электричка пришла – ее нет. Еще две электрички. Узнала не сразу: идет медленно, с большой сумкой, на голове какой-то старушечий платок, лицо – обычно живое и подвижное – сейчас как будто застыло. Говорит еле слышно:

– Мне было очень плохо. Я не знала, что делать. Сказала Социологу, что еду в фольклорную экспедицию, а сама к бабке. В тот же дом в Первом Первомайском переулке. Я думала, раз она умеет привораживать, то, наверное, и боль в душе может вылечить.

– Какая боль? Это из-за ребенка?

– Я не знаю. Просто как-то весь мир стал рушиться.

Это я понимаю. Когда мой папаша ушел, меня он как бы забрал с собой, а новых детей у него не было. Так что мой мир только немного треснул. Джей все-гда твердо знала, что была единственной настоящей любовью отца, и когда у него появился еще один ребенок, ее мир развалился на части.

## Джей: дневник

Толстая записная книжка, переплетенная в темно- красную ткань со множеством оранжевых цветочков, каждый с четырьмя лепестками, стебли образуют решетку. На первой странице написано печатными буквами: “151-01-93. Джей. Пожалуйста, верните”.

### 9 января

Мама была у папы в больнице – тот в ступоре полном. Ощущение жуткой надвигающейся на всех нас катастрофы.

### 20 января

Господи, как все это спуталось и смешалось – папина болезнь, его “фортеля”, видимо, внебрачный ребенок, и только ли это? Он все время плачет.

### 13 февраля

Разбила телефон и разругалась с Социологом. Вдруг надоело все это страшно – умеренность и аккуратность. Все мои прозрения насчет нынешней стабильности, способности и трезвости лопнули. О боже, неужели это безнадежно? Все казалось таким стабильным, мне казалось, что я люблю мужа, а теперь все вернулось. Он такой рациональный, он всегда знает, что есть что. Он часто оказывается прав; разумное трезвое, методическое начало, конечно, это то, что мне нужно, иначе меня собьет, разболтает пульсирующее, прерывистое, нерегулярное мое существо. И всё же...

Мне кажется, что я постоянно бьюсь головой об стену. А что если уйти, ну хоть на несколько дней? Забрать свои бумажки и пожить у мамы? Но я-то хочу быть одна, а там мама меня доведет своими проблемами, которые я не могу вместить. Да, папина Милочка должна родить в июне, и, подумав, что родиться может девочка, я впервые почувствовала мамину боль и ревность. До этого страшно было только, что он мог умереть или не выздороветь, а остальные проблемы меня и не касались как бы, место мое никак не задевалось – я знала, что нас с Шушей он все равно страшно любит. А вот если будет снова маленькая девочка, да еще с июня.

### 20 июня

Боже, пожалей бедного отца и несчастную маму. Она любит его, но боль-то во мне главная в том, что я не могу полностью ее утешить, не могу сказать: “Ладно, ничего, мы проживем (вместе) и без него, и славно проживем”. Я не готова, не могу жить вместе, т. е. буду, если нужно, конечно, но не хочу, трудно мне это, тяжело, я как с камнем за пазухой. Господи, есть ли человек в мире, перед которым я не держу этого камня?

Папина Милочка, видимо, родила на днях (правда, действительно интересно кого, не чувствую совсем ничего – ну, точнее, чуть-чуть, что девочка, но совсем немного). Он позвонил ее маме, Розалии Самойловне, его мучает обещанный долг – ребеночку на обзаведение, 300 рублей, и вообще, он просит разрешения туда ходить. Шесть дней он будет идиллически жить дома, а на седьмой – к Милочке и к ребенку. Боже, что с мамой сделала вся эта история, как она топчет ее, мнет и треплет. Боже, как жалко, жалко, жалко, ведь сил отпущено не безмерно, а отмеренно, и их-то глотает, глотает, гложет эта история. Вот я поеду к нему в четверг, но что я скажу, что я сделаю? Он звонил сегодня, мама не стала с ним разговаривать, отдала мне трубку – он умильный человек или просто хватающийся в этом мире безумных, шатких, дребезжащих вещей за единственную вещь, не причиняющую боли, не требующую решения,



собранности духа и внутреннего мира, – просит второй том *Eckersley*<sup>11</sup>, и я чувствую, что чуть не плачет там. И вся моя решимость “сказать ему наконец” и т. п. мякнет, исчезает, уплывает, и я вдруг чувствую, что страшно к нему привязана, это вдруг как звонок из совсем дальних времен, он ведь по-настоящему, внутри, перестал для меня существовать, умер, стал фигурой просто известного человека (кстати, только утратив с ним детскую внутреннюю связь, а вместе с ней и любовь, я осознала его внешние параметры – известность, “вхожесть в круги”), и вдруг звонок, как бы от покойного родителя (прости мне, Господи, эту фразу ужасную), вернее, утраченного ходом времени родителя, и вдруг снова эта связь, и вот он есть, мой папа. Но что же со всем этим будет?

#### **6 июля**

Господи, господи, господи – кому нужна эта моя сумятица, это колготение души, это раздиранье ее на куски – да никому, я думаю, кроме бедной мамы, которая несчастна сейчас особенно и в этом несчастье хочет сосредоточиться на мне, помимо просто любви ко мне. Господи, да со всем этим – кто примет меня – даже и Ты, наверное, хотел бы от меня все же определившейся, решившейся на какое-то состояние души. Ну, может, начнет отпускать все же, ну их всех просто, я одна – ведь есть же я все же, есть мои границы, надо сгрести себя в них и осмотреться.

#### **17 августа**

Меня положили в 12-ю психиатрическую больницу. Отвозили туда меня в полубеспамятстве, когда я еле разговаривала (в синих старых джинсах, которые впоследствии там я и сносила, и в синем свитере), Социолог и мама. Мама заплакала, когда уходила.

#### **7 ноября**

Боже мой, Боже мой, справлюсь ли я с этой болью? Да меня и нет вообще, нету личности, нету у нее дела, смысла жизненного, кроме того, чтобы подлаживаться, подстраиваться под окружающих, ну, под Социолога, скажем. Господи, это толкает меня на путь вранья, двойной жизни, которую я выносить не в силах. А что же делать? Я должна буду делать вид, что мне там хорошо, на несколько секунд я этим прониклась, но потом опять охватывает ужас и страх от этой залитой дневным светом комнаты, и главное, от притворства, притворства своего и страха, что вот сейчас обнаружится, что меня нет вовсе, просто оболочка, а за ней – ласковое пустое место...

---

<sup>11</sup> Эккерсли Чарльз Эварт (*Eckersley Charles Ewart*; 1892–1967) – автор пособий для изучающих английский язык.

## Глава вторая Валя и Даня

### Валя: детство

22 апреля 1928 года, в музее Ленина, меня приняли в пионеры. Когда я вернулась домой, спросила бабушку Таню:

– Бабушка, а ты помнишь крепостное право?

– Помню, внученька.

– А как его отменяли, помнишь?

– Помню, внученька. Мы так плакали, так плакали. Что теперь с нами будет, кто нас защитит...

“Старорежимная у меня все-таки бабушка”, – подумала я.

Бабушка Таня была карелкой. Карелки, как все тогда знали, были “смирные, кроткие и добросовестные”. Петр I переселил под Лихославль целую карельскую деревню, чтобы помичурински привить эти ценные качества русскому народу. Привой, судя по всему, не прижился, и серьезные женихи все равно, даже в XX веке, ездили в эту карельскую деревню за невестами.

Таня была круглой сиротой. Во время эпидемии умерли родители, ей было тогда семь лет. Воспитывала община. Одну неделю жила в одном доме, другую в другом, третью в третьем, и так по кругу. У нее были необыкновенно густые волосы, мыть и сушить голову было серьезным делом. Когда Тане исполнилось шестнадцать, деревня собрала приданое. В село приехал старообрядец Морозов, владелец извозных дворов на Покровской заставе. Увидев красавицу-сироту, замер. Это была судьба.

Рядом с домом Морозова была конюшня. В детстве я проводила там много времени – автомобилей в Москве еще было мало, и семейное дело продолжалось, хоть и под другой вывеской. Много лет спустя я узнала, что моя свекровь, Рива Израилевна, тоже в детстве любила бывать в конюшне. Уж не поэтому ли мы с ней всегда понимали друг друга?

Морозовские извозчики кормили и чистили лошадей, при этом ругались “как извозчики”. Каким-то образом эта ругань прошла мимо, я ее как будто не замечала. Когда много лет спустя сидела в редакции, ко мне приходили авторы, иногда по делу, иногда просто поболтать. Иногда кто-нибудь начинал рассказывать анекдот и предупреждал:

– Только извините, Валентина Васильевна, там будут матерные слова.

Я всегда отвечала:

– Я выросла на извозном дворе, матерными словами удивить трудно, но, если можно, давайте без них.

Родилась я в деревянном доме недалеко от Покровской заставы, которую потом переименовали в Абельмановскую в честь “какого-то еврея”, как говорил папа.

Через десять лет кусок монастырского парка превратили в сад для детей, поставили при входе выкрашенные известкой косые решетки и повесили название, где все четыре слова висели под разными углами: САД ИМЕНИ ТОВ ПРЯМИКОВА. А еще два года спустя на входе в сад Прямикова возникла светящаяся надпись САД – “первое использование неоновых трубок в Москве”, как писали в газетах. По вечерам народ собирался смотреть на эту огненную надпись. Хорошо помню, что некоторые крестились, а один старичок из “бывших” в полуистлев-

шей, некогда зеленой форме Кадетского корпуса, без погон, но с гербами на оставшихся медных пуговицах, сказал: “Это «мене текел фарес» царя Валтасара. Скоро конец большевикам”.

Сохранился бабушкин сундук, там лежало “приданое”. Летом во дворе натягивали веревку, доставали из сундуков зимние вещи и вывешивали на солнце сушить – чтоб моль не заводилась. Там я увидела бабушкины платья, которые та носила в молодости. Одно из малинового бархата, а другое из голубого. Крохотная, узкая в талии блузочка на крючочках, а юбка длинная и широкая, до полу. Позже, когда бабушка умерла, а семья успела несколько раз переехать, я наконец дорвалась до этих платьев. Из юбок нашла береты. Себе сделала бархатные, голубой и малиновый, а подругам попроще.

Говорили, что береты вошли в моду под влиянием испанской революции. Но первый берет я сделала еще в десятом классе, а испанская революция началась только через год. Как отличницу, меня послали на костюмированный бал в Колонный зал. Я была в костюме Татьяны. Белое платье в талию, веер и малиновый берет. “Кто там в малиновом берете с послом испанским говорит?” Вот я и ходила по Колонному залу, как пушкинская Татьяна, обмахивалась веером, свою косу завила, а спереди – подставные локоны. Никаких испанских послов там не было. Они появились только через два года, и то не послы, а беженцы.

Мать папы Васи, бабушка Аня, была практичная и умная. После смерти мужа пошла работать на конфетную фабрику. Ходила туда раз в неделю, ей давали решето, полное конфет, пачку бумажек, и она шла с ними домой, заворачивать. Вечно голодные дети воровали конфеты, а в бумажки заворачивали камешки, чтобы не нарушать счет. Мать всегда находила эти камешки, а детей порола ремнем. Ее можно понять – выгнали бы, и остались без средств. Но детей наказание не останавливало, между блаженством и поркой проходило достаточно времени, чтобы условный рефлекс не возник.

Васю мать отдала в синодальное училище при кремлевском храме с проживанием. За хороший голос его приняли в мужской хор. Потом голос стал ломаться – в это время петь нельзя. Он вернулся домой и поступил в реальное училище. Туда приезжали купцы, которым были нужны грамотные работники. Приехал Сиротинин, у которого был ювелирный магазин в Верхних торговых рядах на Красной площади. Васю взял сначала учеником, потом бухгалтером. Сколько Васе платили, никто уже не помнит, но он мог содержать всю семью.

У Васи был глубокий бас. Каждую неделю перед выходными Сиротинин устраивал чаепития. Васю просили спеть “Хас-Булат удалой” или “Из-за острова на стрежень”. Однажды зашел брат Сиротинина. Он был врач и работал в Кремле. Послушал Васино пение и сказал: “У твоего бухгалтера замечательный голос. Ему надо учиться”. Сиротинин поехал в консерваторию, узнал, сколько стоит учеба, какое расписание, как можно совмещать с работой, и записал Васю. Он не только платил за него, но и отпускал с работы на занятия. Капитализм с человеческим лицом.

Вася вступил в Русское хоровое общество, где познакомился с Акулиной, дочкой бабушки Тани и моей будущей мамой. По-карельски имя звучало Окку, дома ее звали Акуля, а Шуша в детстве звал ее “бабушка Куля”. Она тоже училась в консерватории, но у нее, в отличие от Васи, не было богатого покровителя, шла по специальной программе для одаренных детей из бедных семей. Правда, некоторые педагоги считали, что учить музыке “кухаркиных детей” – надругательство над высоким искусством, и охотно делились своим мнением с самими учениками. Преподаватель сольфеджио обычно говорил маме: “Сейчас будет урок для тех, кто платит деньги, а вы, Морозова, посидите в коридоре”.

Вася проучился в консерватории с 1914 по 1918 год. Работал, учился и еще ходил в Русское хоровое общество, которым руководил композитор и дирижер Николай Голованов. Голованов очень любил Васю. В Петрограде тем временем случилась революция. В Москве были только отголоски, но все равно жизнь резко изменилась. Торговля прекратилась. Сиротинин впал в растерянность. Вася окончил консерваторию, и его, по рекомендации Голованова, взяли

в хор Большого театра. Он ушел от Сиротинина, а тот собрал свои драгоценности и уехал в Берлин. Вовремя уехал. Постепенно Васе стали давать сольные партии. Сначала второстепенные – сват в “Русалке”, стражник в “Кармен”, а потом он уже пел Мельника в “Русалке” и Собакина в “Царской невесте”. Сохранился его портрет в этой роли, нарисовал приятель. Там надпись на обороте: “Дорогому Васюне с началом большой артистической карьеры”. Тоже певец, а нарисовал прямо как настоящий художник.

В Москве царила разруха и голод ужасный, и папа, прирожденный организатор, собрал группу артистов Большого, и они стали ездить с концертами в армейские клубы. Платили продуктами, поэтому дома голода не было, он привозил белые булки и колбасу, чего давным-давно никто не видел. Папа чем-то там заведовал в месткоме. Однажды сказал: я поведу ваш класс в Большой театр. Закупил билеты, целую ложу на втором ярусе, ложа номер 15, рядом с Царской. Балет “Конек-горбунок”. Класс был небольшой, человек двадцать, во время революции рождаемость была не очень. Первоклассники сидели по двое на стульях. Сзади была аванложа, где во время антракта полагалось пить чай. Оттуда выдвинули диванчик, все разместились, сидели плотно. Балет всем очень понравился.

Спокойная жизнь продолжалась недолго. 1928 год. В Большом театре склоки. Голованова называли “оплотом старых традиций”. Он не член партии, православный, его солисты по воскресеньям поют в церквях. Всем заправляют звезды дореволюционного театра – жена Голованова Антонина Нежданова, Леонид Собинов и сам Голованов. Все верующие. Голованов жалуется на “жидовское засилье в театре”. У папы сохранилась вырезка из “Комсомольской правды”: “Вождем, идейным руководителем интриганства, подхалимства является одно лицо – Голованов. Руби голову, и только тогда отвратительное явление будет сметено с лица земли”. Сталин назвал Голованова “вредным и убежденным антисемитом”, а головановщину – “явлением антисоветского порядка”, из чего, правда, не следовало, что “сам Голованов не может исправиться”.

Издан приказ об увольнении Голованова. Вместо него из Ленинграда вызывают Ария Моисеевича Пазовского. Какой-то местный футурист нарисовал плакат “Клином красным бей головановщину”, но плакат запретили. У клина был профиль Пазовского. В Большом театре смута. Половина согласна, назначают – надо смириться. Папа, который, конечно, за Голованова, принимает активное участие как член месткома. Местком собирается объявлять забастовку против Пазовского. Театр бурлит четыре месяца. Кто-то жалуется в высшие инстанции, те велят навести порядок. Порядок обычно наводится так: самых активных сажают в Бутырки. С папой именно так и поступили. Подумать только, папа арестован “за антисемитизм”! Знал бы он, что через десять лет ему суждено породниться с еврейской семьей.

Тем временем в театре все постепенно утихомиривается, Пазовский дирижирует, причем хорошо, спектакли продолжают. Папа сидит в Бутырках, мама носит передачи. Через какое-то время следствие заканчивается, начинают постепенно выпускать. Папа – последний. Все уходят: “Прощай, ты, наверное, тоже скоро”. Почему выпустили, не рассказывают. Вызвали папу:

– Ну вот, Василий Иванович, все выяснилось, жизнь вошла в берега, и практически завтра можете приступить к работе. Вот только подпишите эту бумажку.

Дают ему бумажку: “Я, такой-то, обязуюсь обо всех случаях высказываний против советской власти немедленно доносить в ГПУ”. Папа отвечает:

– Меня отец драл ремнем, если я доносил. Извините, не могу.

– Тогда в ссылку.

Отправили в Красноярск. Мы с мамой ничего не знали, но ему удалось бросить из поезда записку. К нам домой пришел незнакомый человек и передал ее. Такие случаи бывали.

Театра в Красноярске не было, но был цирк. Вот папа и устроил там спектакль. Позвонил в Большой театр своим друзьям, и они привезли все тот же балет “Конек-горбунок”. Царь-

девицу танцевала Екатерина Гельцер, знаменитая балерина. Она уже была, мягко говоря, не очень молода к этому времени, пятьдесят два года, и весила намного больше, чем положено балерине. Игорь Моисеев потом мне рассказывал, что ее мог поднять только Иван Смольцов. Но и тот однажды сорвал себе спину. Поручили Моисееву, как молодому и спортивному. Он с большим трудом ее поднял, потом закачался, в глазах потемнело, ноги понесли за кулисы, там и брякнул ее об стену. Она отлежалась, открыла глаза и говорит: “Никому ни слова”.

В Красноярске “Конек-горбунок” прошел с успехом, правда, все поддержки из хореографии удалили.

Папа быстро освоился, его приняли в музыкальный техникум заведующим учебной частью. А в Москве дома голод. Маму взяли на работу секретарем домоуправления. Зарплата нищенская, как прокормить двоих детей и свою мать – непонятно. Папа послал ей телеграмму – присылай детей ко мне. Отправлять меня с младшим братом Володей одних – страшно. На помощь пришел папин друг, Иван Федорович, офицер-воспитатель Второго Московского кадетского корпуса. Он ехал в Красноярск и был готов захватить нас с собой. Пять дней ехали до Красноярска.

У меня наступило счастливое время. Я с папой. Подруги появились. Вместе с ними научилась залезать на столбы в калошах. Узнала новое слово: “столбист”. У нас была целая компания “столбистов”, называлась “Аккорд”. Название придумала я, как-никак была дочерью музыканта и сама училась в музыкальной школе.

Осенью нас с Володей отправили обратно в Москву, всё с тем же Иваном Федоровичем. А там новые проблемы. У бабушки Тани инсульт. А на ней держалась вся жизнь, вся кухня – всё. В конце года бабушка умерла. На ее похоронах простудился Володя. Ему все хуже и хуже, врач приходит, говорит: у него очень плохое горло, надо снять мазки, надо в больницу. Мама: в больницу ни за что. Это ее соседи настроили: “Они у тебя погубят ребенка!” И она не отдала. Я хорошо помню, как в дверь отчаянно барабанил врач. Приехала скорая помощь, чтобы забрать мальчика, потому что у него высокая температура и диагноз – дифтерия. А мама все повторяла: “Не отдам”. Володе было восемь лет. Пока он болел, я записала его в первый класс. И вот он умер. Мама страдала, ее было жалко, но в моих глазах ее авторитет пошатнулся. Навсегда.

Папа вернулся в конце 1932-го. За четыре года в стране многое изменилось.

Его сравнительно легко прописали, он же не из тюрьмы вернулся, а из ссылки. Потом ссыльных уже не впускали в Москву. Называлось “минус шесть”. Некоторые получали “минус двенадцать”. Я думала, что папа вернется в Большой театр, но он сказал: “Ни за что!” Понял уже, каким способом освободились из Бутырок остальные “активисты”. Там, в Красноярске, он был в окружении ссыльных, арестованных, освобожденных и оставшихся там жить, и они его просветили. В общем, он стал директором клуба при Наркомате совхозов.

Какой-то неизвестный постоянно писал на папу заявления в милицию, те приходили проверять документы, а у папы, как у ссыльного, в паспорте были особые отметки. Этот неизвестный, видимо, был заинтересован в комнате. Папа понял, что ему надо из этого района бежать. В один прекрасный день он отправил нас с мамой в санаторий на Черном море. Первый раз я купалась в море – какое блаженство! Писала папе письма, просила, чтобы он прислал пять рублей, очень хотелось купить резную шкатулку из самшита. Папа прислал эту пятерку в письме, и шкатулка, ему же в подарок, была куплена. Четверть века спустя Шуша привез мне точно такую из похода по Кавказу.

В Москве нас встретил папа, очень торжественный, взял такси, сейчас, говорит, мы поедем в одно место. А домой-то как? Сейчас увидишь, интересно будет. Въезжаем в Богословский переулок, входим в подъезд. Через подъезд надо пройти в следующий дом, второй этаж без лифта. Поднимаемся с чемоданами. Открываем дверь, входим.

Какие-то сундуки в прихожей стоят. Папа ключом открывает дверь...

Что такое? Папа, что это? Это, говорит, теперь наша квартира. Комната гораздо меньше той, где мы жили. Все тесно, стол квадратный, вокруг него стулья, рядом мамин комод, буфет с посудой, сбоку пианино, там папина кровать, здесь гардероб, а здесь диван, на котором буду спать я. На диване огромное розовое покрывало с вельветовым рубчиком. На покрывале сидит огромный рыжий “тысячерублевый кот”. Папа его так назвал – знакомый одолжил тысячу рублей, отдать не смог, но подарил кота. Так и прожили много лет в тесноте, но зато никого не арестовали и не выселили.

## Валя: ИФЛИ

Пронесся слух, что в Москве открывается новый институт. По чьему распоряжению – непонятно. Много лет спустя наш бывший аспирант Юра Шарапов рылся во всех архивах, пытался найти, кто дал команду, но так и не нашел. Первое постановление было подписано заместителем Наркома просвещения Эпштейном в 1931 году. Но сам он не мог принять такое решение, наверняка была команда сверху.

Сначала институт назывался Историко-философским. В 1934-м к нему добавили литературный факультет, а еще позже – экономический. Первый набор состоялся в 1935 году. Принимали в основном москвичей (до провинции слух еще не дошел). Отличников – без экзаменов.

В 1936 году открыли прием для всех, и хлынуло дикое количество людей. Ввели вступительный экзамен из одиннадцати предметов, для отличников – только собеседование. У Аси, которая потом стала моей лучшей подругой, были две или три четверки в аттестате, ей пришлось сдавать не только литературу, историю, язык, но и физику, химию, математику, биологию. Сдала и получила все пятерки. Муха и Белка тоже сдавали, но очков не хватило, и их приняли на исторический. Проучились на истфаке год и перевелись к нам на литературный.

Это был удивительный институт. Разыскивали старых преподавателей, которые прозябали где-то забытые, заброшенные, голодные. Их друзей и коллег в 1922 году погрузили на пароходы и отправили в Германию. Ленин называл их “растлителями учащейся молодежи”. Теперь “растлители” понадобились Сталину. Старым профессора поручили преподавать историю так, “как они делали это до революции”. Марксизм, похоже, был больше не нужен.

С нами училась Рая Либерзон вот с такой шевелюрой выходящих волос – она потом вышла замуж за Леню Шершера, – необыкновенно активная комсомолка. Леня, худой, бледный, очень остроумный. Был редактором нашей стенной газеты “Комсомолия”, она делалась с таким энтузиазмом, что каждый раз получалась необыкновенной длины, целиком занимала всю стену коридора. Чего только там не было – карикатуры, стихи. Обязательно стихи наших поэтов, Павла Когана, Эдьки Подаревского (оба погибли на фронте). Даня тогда писал только лирические стихи, и только мне.

У нас с Даней начался роман, а тут Эдька тоже в меня влюбился... Но Даня встал насмерть, они даже подрались. Потом, правда, помирились. В моей жизни было так: пришла в институт, познакомилась с Даней, а когда роман начался – всё, на этом все мои романтические истории были заперты на ключ. Так и прожила до развода. Уже через много лет, когда я работала в журнале “Новый мир”, ко мне пришел Вадим Струве.

– А ты знаешь, что я в тебя был влюблен? – сказал Вадим.

– Ты с ума сошел!

– Ну как же, я пытался через твоего Даньку пробиться, но ничего не получалось.

Если бы я была более свободной, раскованной, может быть, прожила бы более веселую жизнь. Я с детства была страшно стеснительная. Помню, меня девятилетнюю послали в аптеку. Надо было сначала заплатить в кассу, а потом с этим чеком идти к прилавку. Я чек в кассе выбила и по рассеянности пошла к двери. Мне кричат из-за прилавка:

– Девочка! Ты лекарство получить забыла.

Я залилась краской и быстро говорю:

– А мне не надо, – и бегом на улицу.

Первый день в ИФЛИ выпал на международный юношеский день, и все студенты шли на демонстрацию на Красную площадь. А там на Мавзолее вожди. Один вождь лежал внизу в гробу, а наверху стояли вожди сегодняшние. Идти пешком от Сокольников до Красной площади не меньше трех часов. Построились, двинулись шеренгами по четыре человека. Кто-

то пришел с гармошкой. Как только мы останавливались, начиналась музыка, сразу начинали танцевать, прыгать, вообще веселье.

Мы оказались с Даней в одном ряду и разговорились. Что ты любишь читать? Я люблю Маяковского. И я люблю Маяковского. Я люблю Чехова. И я люблю Чехова. Боже мой, как все совпадает! Наум Лазаревич, отец, читал им дома Чехова по вечерам, а Маяковского он сам полюбил. В моей семье книг было мало. Зашла однажды к соседям, увидела книжку – стихи. Я говорю, а что это такое? Возьми почитай, если хочешь, мы в библиотеке взяли, но у нас как-то не идет. Я взяла томик домой, открыла Маяковского, “Летающий пролетарий”. У меня родители из прошлой эпохи, религиозные, дома икона висит, а тут я читаю: “Небо осмотрели и внутри, и наружно. Никаких богов, ни ангелов не обнаружено”. Прочитала и влюбилась.

В девятом классе был учитель по литературе Александр Иванович. Мы обычно читали вслух, а потом проводили разбор. И тут как раз должны были проходить Маяковского. Александр Иванович его явно не любил. Ну, говорит, найдется кто-нибудь, желающий прочитать вслух? Я и вызвалась.

Вовек  
такого  
бесценного груза  
еще  
не несли  
океаны наши,  
как гроб этот красный,  
к Дому Союзов  
плывущий  
на спинах рыданий и маршей.

Я читала с таким чувством, что, когда закончила, он сказал задумчиво: да, да, это, пожалуй, интересно. Так я распропагандировала своего учителя. А с Чеховым у меня было так: пошли с папой в гости, там были незнакомые дети, я застеснялась, отошла подальше и увидела книжку на диване, села и уткнулась в нее. А это оказался Чехов. Прочитала рассказ “Радость”. Человек попал под лошадь, и об этом напечатали в газете. Потом позвали к столу, я с трудом оторвалась, и, когда обед закончился и люди стали разговаривать, я сползла со стула и скорее снова на диван за этой книжкой. Потом попросила родителей, чтоб мне достали Чехова.

Итак, мы с Даней познакомились, разговорились, как-то хорошо было. Потом на занятиях сели не совсем рядом, но близко. В институте можно было заниматься немецким, английским и французским – на выбор. Я выбрала немецкий, у меня в школе был немецкий. И Даня тоже.

Ну вот, Даня все время мелькал, здравствуй-здравствуй, весь сентябрь так проходили рядом, а потом он перестал почему-то появляться. Ну ладно, не ходит и не ходит. Где-то к концу декабря Даня опять вдруг возник в аудитории и садится недалеко от меня. Потом передает записку: “Я тебя люблю”. Боже мой, с ума сошел человек! И дальше: “Не уходи после лекции домой, поговорим”. Ну, пожалуйста, давай поговорим. Кончается лекция, мы не идем домой, а поднимаемся на пятый этаж, оттуда вела лесенка на чердак, считалось, что там кабинет помощника ректора, а на самом деле там сидел Яша, работник НКВД.

Кстати, этот Яша Додзин многим помогал. Агнессе Кун, дочери Бела Куна, когда арестовали ее отца, помог остаться в институте. А вот Ханке Ганецкой, дочери польского революционера, и Елке Мураловой, дочери коменданта Кремля, помочь не смог. Их исключили из комсомола и выгнали из Москвы. Теперь часто пишут: “В эту страшную эпоху террора ИФЛИ был оазисом”. Не был. Шли процессы, у нас проходили эти дикие собрания, где дети арестованных должны были публично каяться, отрекаться от родителей. Нужно было голосовать за



их исключение. А бывало и так, что человека исключили из комсомола, а потом он просто исчезал. У нас был такой Иван Шатилов. Я сделала доклад о международном положении, еще на первом курсе, Иван подошел ко мне и сказал:

– Оказывается, девчонки умеют соображать.

Я просияла. Через неделю его исключили из комсомола, уже не помню за что. Еще через несколько дней он исчез. Много лет спустя пришел ко мне в “Новый мир”.

– Ты меня узнаешь?

– Да.

– Я знаю, кто на меня донес, но не скажу, потому что вы все его обожаете.

Я поняла, о ком речь. Рассказала Дане. Он помрачнел:

– Никому не рассказывай!

...Ну так вот. Мы с Даней поднимаемся по лесенке на пятый этаж, он притащил два стула, садимся, и он начинает объясняться мне в любви. Он так хорошо и интересно говорил, что мы просидели там, наверное, час. Народ уже почти разошелся, а мы двинулись домой пешком. От института до метро “Сокольники” минут сорок. И с тех пор эта дорога стала нашей традицией.

Учиться было необыкновенно интересно. В программе – всё на свете: латынь, история, начиная с Египта, потом Греция, Рим, Средние века. На первом курсе древнюю историю читал профессор Сергиевский. Так Даня всю лекцию его записал стихами в моей тетради:

Товарищи, что мы зрим?  
Сулла идет на Рим.  
Идет за одной одна  
Самнительная война.  
Самнительная, пойми ты,  
Потому что дрались самниты.

Тетрадь эта пропала. При разводе, кстати.

Лекции заканчиваются в три часа, мы бежим обедать. Рядом был завод “Красный богатырь” (делали галоши), и там, в фабричной столовой, нас кормили. Мы платили, конечно. Мама и папа давали с собой десять рублей на день, а Дане пять. А потом допоздна сидели в институте, в читальне. В десять часов вечера институт запирался, и мы шли домой.

Иногда, когда нас распирала нежность, мы шли не только до “Сокольников”, а дальше пешком. Я жила в Богословском переулке, приходила домой часа в три. А вставать в полвосьмого. Ну и что! А бывало, вечером идем-идем, сворачиваем в мой переулочек около Камерного театра, и я вижу – у нашего крыльца стоит мама, волнуется. Но видит, что мы идем вдвоем, и она юрк, и бегом-бегом вверх. Как будто она спит – не ждала и не волновалась.

Летом 1937 года Даня, его брат Арик, их друг Лева Бергельсон и еще несколько приятелей пошли в поход по Военно-грузинской дороге. Меня звали с собой, мне очень хотелось, но я отказалась. В детстве у меня обнаружили “шумок в сердце”, а в то время для лечения сердечных заболеваний рекомендовалось как можно больше лежать и как можно меньше делать резких движений. Мне всегда хотелось бегать и прыгать, но я была послушной девочкой. От добросовестного лежания у меня с годами образовалось искривление позвоночника. Когда врач в Америке прописал мне упражнения для спины, я пыталась объяснить ему, что мне нельзя, и рассказала про “шумок в сердце”. Мне тут же сделали кардиограмму и сказали: “Такого здорового сердца в вашем возрасте мы давно не видели”. Это о пользе лежания, Илья Муромец тоже сорок лет на печи пролежал.

Из рассказов Дани о походе я помню только два эпизода.

– Подниматься тяжело, – рассказывал он, – особенно с рюкзаком в шестьдесят килограммов. Но это сравнительно безопасно. Все травмы обычно происходят при спуске. Спускаться надо медленно. Пока есть силы, это удастся. Но постепенно устаешь, рюкзак тянет вниз, и через какое-то время начинаешь бежать. Тогда травмы неизбежны – всё что угодно, от подвернутой стопы до трещины в черепе. Другая опасность – камни. Первый, кто заметил катящийся сверху камень, громко кричит: “Камень!” Все тогда быстро смотрят вверх, пытаюсь вычислить траекторию, чтобы успеть отскочить или прикрыться рюкзаком.

Когда они вернулись в Москву, развлекались так. Идут по улице Горького мимо новых домов, и кто-нибудь крикнет: “Камень!” Все тут же – головы вверх, но вместо камня взгляд натывается на смотрящие вниз скульптуры.

Сразу после похода Даня повез меня на дачу знакомиться с родителями.

Волновался – как родители отнесутся. Ну да, они уже не были местечковыми евреями, но “шикса” из православной религиозной семьи?.. Младшая сестра Ривы, тетя Рахиль, которая однажды встретила нас вдвоем, уже провела с Даней беседу:

– Ты понимаешь, что рано или поздно она тебя назовет “жидом”?

Я волновалась не меньше Дани, но не по поводу реакции его родителей, меня скорее волновали мои собственные. Хотя я не могла вспомнить, чтобы папа хоть раз употребил слово “жид”, но он все-таки был арестован не за что-нибудь, а за антисемитизм – пусть не свой, а Головановский.

При мне ни папа, ни мама ничего “антисемитского” не произносили никогда. Не знаю, может быть, в душе им и хотелось, чтобы продолжение семьи было более близким и родственным, но они никогда этого не показывали. Даню со временем искренне полюбили. И про разговор Рахили с Даней я знала. Но когда мы с ней познакомились поближе, и особенно в эвакуации, мы очень подружились. Она говорила, что лучше человека, чем Василий Иванович, она не знает. Так что у нас с Шульцами потом было полное единение.

Много лет спустя, уже после смерти папы, наша домработница Катя Харченко говорила мне, что папа ей якобы признавался: вот внучка у меня хорошая, она на русскую похожа, а внук, к сожалению, еврей. Но алкоголичке Кате верить нельзя, могла и соврать.

## Валя: муж заболел

В 1938 году мы с Даней поехали в Крым. Путевки в санаторий Наркомата совхозов в Курпатах устроил, конечно, мой папа. На вокзале все четверо родителей наконец встретились. Ощущение было странное: мы не женаты, ни о чем не объявляли, просто едем отдыхать. Но на фоне того, что происходило в стране, и тем и другим родителям было о чем беспокоиться помимо внебрачного секса, поэтому они пожали друг другу руки, расцеловали каждый своего ребенка и сунули нам по пачке денег. Моя пачка оказалась в два раза толще, но мы тут же объединили обе пачки в одну.

В Курпатах Даня заболел. Это был его второй приступ, первый случился на три года раньше, когда он вдруг исчез из ИФЛИ. Тогда на мои вопросы он отвечал неопределенно – плохо себя чувствовал, болела голова, плохо спал. Я не расспрашивала, он был такой сильный, от него исходил такой напор жизненной энергии... В Курпатах он внезапно стал меняться.

Однажды утром, когда надо было собираться на пляж, он лежал в кровати и пел “Там вдали за рекой зажигались огни”. Сначала я решила, что это игра, и стала подпевать, но вдруг заметила у него в глазах слезы.

– Что с тобой?

– Я вспомнил дядю Левика. Как они с папой хохотали всю ночь, когда он приезжал. Он не мог оторваться от Аннушки. Я знаю, что его расстреляли...

– Как расстреляли? Он же сорвался в пропасть.

– Это тайна, никому никогда не говори, его расстреляли как американского шпиона... Он был членом РСДРП с 1915 года, партийный билет № 12... Я не могу жить с этим... Я не хочу жить с этим... Я не хочу жить...

Вид у него был страшный, глаза полузакрыты, мертвенная бледность. И опять начал петь:

И боец молодой вдруг поник головой,  
Комсомольское сердце пробито.

Так и пел двое суток. Я не отходила от него. В какой-то момент показалось, что он заснул, я помчалась на почту и дала телеграмму Риве Израилевне: “Даней плохо”. Ей не надо было ничего объяснять, она появилась через трое суток с санитаром, мы все погрузились сначала в автобус до Симферополя, а потом в купе поезда Симферополь – Москва, а потом, не заезжая домой, прямо в Кащенко, где его уже ждали.

Я была в панике. Не знала, как мне жить дальше, с кем посоветоваться.

После смерти брата Володи я не слишком доверяла мнению мамы, но тут включился какой-то биологический, что ли, инстинкт, и я бросилась к ней:

– Мамочка, это так страшно! Это был другой человек. Я его не могла узнать. Как я могу связать свою жизнь с человеком, который вдруг может превратиться из яркого, умного, талантливового, любящего существа в какую-то безжизненную мумию.

– Доченька, – сказала моя верующая мама, – ну как же можно оставить больного человека?

Я замерла. Я привыкла относиться к религии родителей как к простительной слабости, но тут что-то во мне вспыхнуло. Я вдруг поняла, что этот крест мне предстоит нести всю жизнь, и, как ни странно, это меня успокоило.

После месяца в Кащенко Даня пришел в себя и снова с головой бросился в институтскую жизнь.

Мы решили пожениться в начале 1941 года, на последнем курсе. Конечно, приходилось думать, что же нам делать дальше, если нас распределят в разные места. Либо мы разъезжаемся, либо должны пожениться. Мы не считали наш роман чем-то легкомысленным, считали, что всё правильно, в общем, решили жениться и подали заявление в ЗАГС.

Я знала, что мой папа – человек старых нравов, полагается просить руки. Даня говорит: я не могу, это как-то странно, старомодно. Но что делать, надо уважать чужие традиции. Короче, я родителей предупредила, что мы придем. Они, я думаю, догадывались зачем – когда я приходила домой из института, я тут же брала телефонную трубку, и мы с Даней разговаривали часами. Мама все слышит. Папа пытается позвонить домой – невозможно. Так что они понимали.

Они что-то приготовили, купили вина. Мы пришли, папа наливает всем вино и говорит – ну, за что пьем? Даниил молчит. Папа говорит – ну хорошо, выпьем за знакомство. Еще полчаса, еще наливает – за что пьем? Даня молчит. Весь вечер наливают, пьют, а он молчит. Наконец папа еще раз разливает и говорит:

– Я уж не знаю, за что и пить-то.

Тут наконец Даниил берет себя в руки и выдавливает:

– Василий Иванович, я прошу руки вашей дочери.

– О, какая неожиданность, ну что же, дети, будьте счастливы...

Данино объяснение в любви было 4 марта 1937 года, а 15 марта 1941 года мы расписались, и я переехала к ним. Дальше начиналась полоса экзаменов...

Уже шла Вторая мировая война, но нас она как-то не коснулась. Хотя в 1939 году мы сочувствовали Франции, нам казалось, что английские войска здесь неподалеку, была какая-то надежда. Нацизм ничего, кроме отвращения, не вызывал. И тут этот жуткий пакт Молотова – Риббентропа, Сталин заключил братский союз с Гитлером. Ведь мы уже знали про отношение к евреям, про концлагеря, про то, как Гитлер захватывал одну страну за другой, – мы всё это знали. Но как мы могли реагировать? Молча. По большей части люди недоумевали и не понимали. У нас свои были проблемы, людей арестовывали, друзья исчезали.

А мы оканчиваем институт, надо готовиться к экзаменам. Я живу у Шульцев с Наумом Лазаревичем и Ривой Израилевной. А Арик за два месяца до нашей свадьбы, в начале февраля, женился на Доре и переехал к ней, в нашем же доме, только в другом корпусе, они на пятом этаже, мы на втором. Я из своего окна всегда видела, горит ли у них свет, спят они уже или нет.

Экзамены сдавали не только за пятый курс, а за все пять лет. Диплом.

Две недели сидели дома безвыходно, готовились. Вставали рано утром, сразу за учебники, тетради... Спали мало. 21 июня, в субботу, пошли сдавать. Сдали все очень хорошо, пришли, счастливые, домой, рано легли спать. Родители с утра уехали на дачу отдохнуть, они тоже мучились с нами эти две недели. Часов в двенадцать звонки и стук в дверь. С трудом просыпаемся. Стук усиливается. Я в ночной рубашке, накинула халат и бегу открывать. Открываю дверь, там стоит Арик:

– Что вы спите, что вы спите, идиоты!

– Что случилось?

– Вы не знаете? Ничего не знаете? Война! – он был абсолютно счастлив. – Мы с Гитлером будем воевать, с фашистами. Мы им дадим!

## Валя: эвакуация

Наум Лазаревич вместе с Военно-морской школой эвакуировался раньше всех в какой-то город на букву “К” – то ли Коломна, то ли Калуга, не помню. Даня, у которого после эпизода 1938 года белый билет, копает окопы под Ельней вместе с Дэзиком Самойловым, тоже бело-билетником. Арик, выпускник института связи, мобилизован, естественно. Их часть находилась в Ачинске, недалеко от Красноярска, куда я ездила к папе в ссылку. Анна Ароновна, теща его, тоже мобилизована как врач и никуда трогаться не может. Я окончила курсы медсестер и дежурю в метро на учебных тревогах. В квартире на Русаковской только я и Рива Израилевна. В соседнем корпусе Дора на седьмом месяце беременности и Анна Ароновна, которая дежурит в больнице и даже не приходит ночевать, только иногда ее отпускают домой.

В этот момент моего папу назначают начальником эшелона, в котором собираются вывозить всех детей наркомата совхозов – детский сад, пионерлагерь и всех остальных. Телефон у нас уже сняли, позвонить папе не могу. Поехала к нему на трамвае. Он говорит решительным тоном, каким никогда со мной не разговаривал:

- Собирайся, поедешь с нами.
- Папа, как же я уеду без Дани?
- Оставишь ему письмо, я дам адрес, я знаю, куда мы едем.
- Пап, ну как же я могу ехать, когда у нас с Даней назначение в Пензу?
- Я тебя здесь не оставлю.

Он, видимо, уже слышал, что делается на оккупированных территориях, с начала войны прошло двадцать дней. Я к Риве Израилевне:

- Что же мне делать?
- Папа правильно говорит, – отвечает она, – тебе надо ехать. А у меня к тебе просьба, поговори с ним, может, он возьмет меня с Дорой. Анна Ароновна уехать не может, а Дора не может остаться в Москве в таком положении.

Я опять на 45-м трамвае к папе:

- Папа, Рива Израилевна – очень хороший учитель, прекрасный организатор!
- Ладно, – говорит папа, – где моя не пропадала. Семь бед, один ответ.

Вписывает и их. Мы все собираемся и едем на метро до Сокола. Там на станции чего-то ждем. Я позвонила из автомата подруге Асе, автоматы работали, а у Аси телефон почему-то не сняли, и она приехала прощаться. Я сняла с себя лаковый поясик и отдала ей, на память.

Недалеко от Сокола – окружная дорога, мы идем туда, товарные вагоны, какие-то железные лестницы, по которым надо лезть. Даже мама лезла в свои пятьдесят лет, хотя нельзя сказать, чтобы она была такая уж ловкая.

Короче говоря, едем в товарном вагоне. Папа в другом вагоне, как начальник. Был еще вагон – детский сад со своим заведующим, пионерлагерь занимал два вагона. Ехал еще с нами представитель партбюро, такой был Мартьянов, очень хороший человек. Папа с этим Мартьяновым из вагона в вагон переходили, следили за всем, надо было как-то кормить людей – а ехали мы долго, десять дней.

Папа был неспокоен. Детей-то вывозили без матерей, без отцов. А тут едет начальник эшелона с женой и дочерью, это ладно, но еще со сватьей и ее беременной невесткой. Но Рива Израилевна сразу включилась в работу, показала, что она нужный человек. Смешно, конечно, сначала сослали в Сибирь за антисемитизм, а потом неприятности из-за того, что спасает еврейских родственников.

Приехали в Миловку, это в Башкирии, двенадцать километров от Уфы. Дане я оставила очень длинное письмо, очень трогательное, с напутственными словами – кошмар, стыдно

вспомнить. 11 октября у Доры родилась Диночка, а 15-го к нам приехала Рахиль с дочкой и племянницей. Папа и их принял и поселил с нами.

В Миловке находился Башкирский сельскохозяйственный институт, который был подотчетен наркомату совхозов. Мы все жили в студенческом общежитии, а Рахиль устроилась делопроизводителем. Как человек деятельный, она быстро нашла себе жилье, так что они с дочкой и племянницей только несколько дней жили у нас.

Арик прислал телеграмму, что находится в Чебаркуле и скоро на фронт. Тогда Рива Израилевна решила отправиться к нему. Я хорошо помню ее рассказ. Надо было ехать из Уфы в Чебаркуль, это больше трехсот километров. Поезда шли без расписания. С большими мучениями поздно ночью она добралась до Чебаркуля. Вокзал был забит бойцами.

– Ты к кому едешь-то? – спросил ее пожилой солдат.

– К сыну.

– Это другое дело. Я думал, жена. Жен-то много, а мать одна. Что-нибудь придумаем.

Под утро бойцы построилась, а ее поставили посередине. Пожилой солдат взял ее чемоданчик. Рядом кто-то выругался.

– Не видишь, с нами мать, – оборвал его пожилой солдат.

Ее довели до командирской палатки. В полумраке она увидела фигуры трех военных. Один из них бросился к ней. Это был Аарон – повзрослевший, усатый, подтянутый лейтенант.

Весь день были вместе. Говорили, говорили без конца.

– Работа начальника связи полка, – сказал Арик, – совершенно не опасна. Да и победа близка. Я должен рассчитаться с Гитлером – как комсомолец и как еврей...

Потом, когда их повезли на фронт, они ехали через Уфу. Арик упросил командира отпустить его на несколько часов. Бежал бегом двенадцать километров, провел часа два или три с Дорой и новорожденной Диной, а потом так же бегом обратно в Уфу. Часть свою успел догнать.

1 сентября 1941 года мы должны были встретиться с Даней в Пензенском университете. Это был полный идиотизм с нашей стороны, мы не позвонили, не проверили, сохраняется ли это назначение. Он вообще не хотел ехать. Ему Рива Израилевна послала телеграмму: подводишь Валу, что она там будет делать одна?

А он только что вернулся в Москву с рытъя окопов, это было настоящее бегство, по их следам шли немецкие танки. В Москве оставалось несколько ифлийцев, он там с ними колготился. И рвался на фронт. Потом, в Миловке, пошел в военкомат, его, естественно, не взяли – у него был белый билет. Тогда он пошел в психиатрическую больницу, чтобы они сказали, что годен. Упорно твердил, что хочет на фронт, ну, они и решили – точно сумасшедший.

Короче, мы поехали в Пензу, он из Москвы, а я из Миловки. Я с диким трудом добиралась, с вещами, одна, опять же в теплушке. А в университете мне говорят – да что вы, к нам эвакуировался весь Ленинградский университет, все вакансии заняты, нам никто не нужен. Дали мне койку в общежитии с одной сеткой, без матраса. Но с клопами. Туда же приехал Даня. Делать нечего, надо возвращаться в Миловку.

30 августа сели в поезд. Едем, целый день едем. Жарко. Очень жарко. Часов в пять-шесть подъезжаем к Волге. Станция Батраки. Огромный железнодорожный узел. Все пути забиты эшелонами. Наш поезд остановился, не доезжая станции, на обрыве, над самой Волгой. Красота необыкновенная. Солнце садится. Пошли к машинисту:

– Какие перспективы?

– Не меньше четырех часов простоим.

Даня мне говорит:

– Пошли искупаемся.

– Нет, я купаться не буду.

– Пойдем, пойдем, жарко.

Он в одной рубашке и брюках, а я в черной юбке и сиреневой кофточке вышитой. В руках ничего – все вещи, деньги, документы в поезде остались. Спускаемся по обрыву к реке, я сажусь на бревнышко.

– Пойду окунусь, – говорит Даня.

Ему хочется показать мне, как он хорошо плавает.

– Как же ты потом в мокром пойдешь?

– Я без трусов.

Раздевается. Я отворачиваюсь. Хоть и женаты, а я все стесняюсь.

– Можно повернуться уже?

Не отвечает. Оборачиваюсь – его нет. Поднимается ветерок, на реке какие-то всплески. Какая-то тень, кажется, что это голова. Я сижу. Проходит час. Сижу. Хожу. Ничего не понимаю. Ко мне спускается женщина.

– Ты что тут сидишь?

– Да вот муж поплыл, и не знаю, где он.

– Милая, да он же утонул. Я смотрю из окна, там кто-то плывет-плывет. Я думаю, какой дурак там плавает, вечереет уже. А он рукой машет, еще раз помахал, потом еще раз помахал. И всё, ушел с головой. Пойдем, пойдем со мной.

Я как в тумане, ничего не понимаю. Говорю:

– Мы с поезда, у нас там все вещи.

– Пойдем, пойдем ко мне.

Отвела меня к себе, налила горячего чаю. Я в каком-то оцепенении.

– Что же теперь делать?

– Ну, пойдем, доведу тебя до твоего поезда. Тебе ж надо свои вещи все-таки забрать.

Потом смотрит в окно и говорит:

– Подожди, подожди. Лодка какая-то плывет. Вон, с того берега.

Мы с ней побежали вниз. Смотрим, действительно плывет лодка. В ней сидят бабы, и с ними Даниил. Голый. Каким-то фартуком обмотан. Эти бабы поехали на остров косить сено, собрали его – и назад. А Даниил доплыл до середины Волги, выбился из сил, чувствует, что идет ко дну. В это время мимо движется баржа. Низкая-низкая. С дровами. Он уцепился и влез на нее. Отдышался – и обратно в воду. Доплыл до острова. Решил, что обратно не доплывет. Пустынный остров, песчаный, ни растений, ни людей. Вдруг видит вдалеке, бабы лодку спускают. Он к ним кинулся и кричит:

– Бабы!

Те дико испугались. Голый. Бежит. Немец? Шпион? А он им:

– Я не шпион! Помогите!

Они ему кинули фартук. Он им обмотался, и они привезли его прямо к тому бревнышку, где мы расстались. У меня его штаны и рубашка, он оделся, сказал “спасибо” бабам, я поблагодарила женщину, и мы пошли искать наш поезд.

Ночь. Темно. Прошло не меньше четырех часов. Поднимаемся по обрыву – эшелона нет. Станция далеко. Дошли. Пошли к начальнику станции: не знаете, где наш эшелон? Номер мы помнили. Он смотрит в свои бумаги:

– По-моему, он все еще стоит у семафора. Ищите.

Одиннадцать путей по одну сторону вокзала и девять по другую, и на всех путях стоят эшелоны. С закрытыми дверями, естественно, поскольку ночь. Первый раз мы вместе обошли одиннадцать путей. Пролезаем под вагонами. Страшно. В любой момент состав может тронуться. Часа два ходили. Я говорю:

– Больше не могу. Я тут посижу.

– А я еще поищу.

Он ушел, а я села на какой-то железный ящик. Проходит еще минут двадцать, вижу, он бежит ко мне:

– Нашел! Я нашел!

Он, оказывается, шел-шел, и вдруг слышит разговор за закрытой дверью:

– Подумать только, что за идиоты. Ушли с поезда. Куда?

Он стучит им в дверь:

– Это не у вас ушли двое?

– Кто это?

– Мы вот ехали, пошли купаться...

– Ох, идиоты!

– Мы сейчас, я только сбегая за женой...

Вот так мы доехали до Миловки.

После этого эпизода я поняла, что отныне все должна решать сама. Я привыкла к жизни с папой – всё в руках у мужчины, все решения, перемещения. Я думала, что и у нас будет так, но ничего подобного. Пришлось брать власть в свои руки, не имея для этого никаких данных. Управлять я не умела совершенно, деловых качеств тоже не было. Так что у меня была нелегкая жизнь.

...В 1943 году мы вернулись в Москву – разными путями. Сначала уехал папа, раньше всех, в 1942-м. Там были всякие несчастные случаи в детском доме, погибло четверо детей, но это была не его вина. Папу сняли с работы, прислали другого директора, а его вызвали в наркомат. К счастью, во всем разобрались, хотя на работе не восстановили.

Вскоре уехала мама. Школу Наума Лазаревича перевели в Сибирь, в тот самый Ачинск, где в 1941 году стояла часть Арика. Рива Израилевна уехала к мужу. Анну Ароновну наконец демобилизовали, и она приехала в Миловку, точнее в Затон, это ближе к Уфе, и работала там в госпитале. Дора с Диночкой переехали к Анне Ароновне. И мы остались там вдвоем с Даней.

1943 год, уже понятно, что можно возвращаться. Но как?

Мне поручили сопровождать наркоматовских девочек, которые закончили седьмой класс. Даня нанялся матросом на корабль, который шел из Уфы в Москву. На Русаковской первой появилась я. Затем – загорелый и сильно окрепший Даня. Потом приехала Анна Ароновна с Дорой и Диночкой. Они поселились у нас, потому что в их квартире не было отопления, а потом присоединились и мои папа с мамой – у них тоже не топили. Жили так: мы с Даней в нашей комнате, мои родители в столовой, а в кабинете Дора с Диной. Потом, когда немного потеплело, мой папа поставил на Богословском печурку, и летом они переехали обратно.

В это время было уже известно, что Арик погиб на фронте. То есть это было известно Науму Лазаревичу, Риве Израилевне, Дане и мне, но не было известно Доре. Оба родителя каким-то образом узнали о смерти сына, но долго скрывали это друг от друга, считая, что другой не перенесет.

9 мая 1945 года, в праздник Победы, я первый раз в жизни увидела Риву Израилевну рыдающей. Тогда она уже поняла, что все, надежды больше нет. В извещении было написано “пропал без вести”.

Мы съездили в Баковку посмотреть и нашли там полный развал. Солдаты разводили костры прямо на полу. Хотя дача строилась как зимняя, бревенчатая, печка была только на половине родственников, и осенью, зимой и весной там было холодно. Переехали мы туда, только когда родился Шуша.

Напротив дачи был высокий глухой забор. Участок принадлежал, кажется, маршалу Малиновскому. Потом шли дачи маршалов Рыбалко и Баграмяна. Я хорошо помню пленных немцев, которые строили дачу Малиновского. Они жили в бараках прямо в поле и каждый день ходили мимо нас. Всегда просили чего-нибудь поесть, обычно повторяли: “люк, люк, люк”,



надеялись, что лук поможет от цинги. Я помню, как Рива Израилевна давала им этот лук. Я тогда думала: боже мой, как у нее хватает сил, они же убили ее сына. Удивительный человек.

Потом рядом построили стадион “Локомотив”. А раньше там был “искосок” – это пошло от четырехлетнего Шуши: на станцию можно было идти по дороге, а можно было срезать через поле, пойти наискосок. Он и решил, что поле называется “искосок”.

## Дина: Баковка

Мой дедушка Ефим Павлович заведовал чем-то в системе Наркомата путей сообщения, и этот участок в Баковке он, как и другие начальники, получил от НКПС в середине 1920-х. Сначала участок был в том месте, где теперь проходит Минское шоссе, близко к станции, а когда стали строить шоссе, дедушке предложили подальше, на Лесной улице. Ему даже удалось выбить двойной участок, потому что он выписал из Киева свою младшую сестру Евгению. Построили дом и разделили его капитальной стеной на две части.

Сначала жизнь дедушки складывалась счастливо. Бабушка Аня была прекрасным детским врачом, дедушка Ефим ее обожал, у них была чудесная дочка Дора. Потом начались несчастья. Михаила Кагановича, родного брата всесильного Лазаря Моисеевича, сняли с должности наркома авиационной промышленности. Для дедушки Ефима это была катастрофа. Михаил был его другом и покровителем. Потом дошел слух, что Михаил Каганович застрелился. В НКПС стали исчезать начальники. Ефим Павлович понял, что он следующий. Он знал, что происходит с “членами семьи изменника родины”, и решил спасти семью. Инсценируя несчастный случай, выбросился с балкона конструктивистского здания НКПС у Красных ворот.

Когда Шуша, мой “родной двоюродный брат”, как я его называю, писал курсовую работу о “пролетарской классике” Фомина, он долго ходил вокруг этого здания, пытаясь представить себе, с какого именно балкона мог выброститься дедушка Ефим. Два балкона на той стороне башни, которая обращена к Садовому кольцу, справа от циферблата квадратных часов, нависали над крышей четырехэтажного крыла, расстояние недостаточное, чтобы разбиться насмерть. Остаются три балкона со стороны Новой Басманной, слева от второго циферблата и длинного вертикального окна. Эти балконы тоже нависают над крышей, но если прыгнуть с самого верхнего балкона немного в сторону Садового кольца, то до крыши еще целых шесть этажей.

План дедушки сработал, бабушка Аня не стала “членом семьи изменника родины” и осталась на работе в больнице. Дочка получала пенсию до окончания школы, семья сохранила и квартиру, и дачу. Дача была кооперативная, за нее надо было продолжать платить, а после смерти мужа денег у бабушки не было. Вот тогда-то она и предложила Шульцам купить половину ее половины.

Выплатить всю сумму сразу Шульцы не могли. Хотя оба работали, дедушка Нолик преподавал русскую литературу в Военно-морской школе, а бабушка Рива была завучем в обычной, на жизнь им хватало в обрез. Сошлись на том, что Шульцы возьмут на себя месячные платежи. Как они это вытянули, не знаю, а спросить теперь некого.

Когда родился Шуша, мне было три года. Я помню, как новорожденного привезли на дачу, а он не переставая плакал днем и ночью. Валя все ночи напролет пыталась его укачивать, а он все кричал. Только когда бабушка Аня приехала на дачу и Валя ей все рассказала, та сразу поняла:

– Деточка, ребенок голодает, у тебя почти нет молока.

Даня побежал через лес в “лесхоз”, где, как ему сказали, живет татарка Сима с коровой. В шесть утра на следующее утро пришла веселая румяная Сима с бидоном парного молока. Шушу напоили, и он перестал плакать. Потом много лет Сима приходила с бидоном каждое утро, и мы все пили парное молоко. У Шуши страсть к парному молоку сохранилась на всю жизнь. Без этого молока он бы не выжил.

## Дина: Внуково

Даня всегда ругал меня за желание писать красиво. Поэтому расскажу без художественных приемов и лирических отступлений. Если меня вдруг понесет в красоты, останавливайте.

Когда Шуше было восемь, а мне одиннадцать, мы поехали на велосипедах во Внуково встречать Даню. Он возвращался из ГДР, мы знали день, но не знали ни времени, ни номера рейса. Мы часто ездили во Внуково, но всегда с Дымчатым или с Витьком. На этот раз я уговорила Шушу ехать вдвоем. От нашей дачи до Внуково километров пятнадцать, на его “Орленке” и моем ржавом дамском велике неизвестного происхождения это обычно занимало больше двух часов. Сначала надо было ехать по Минскому шоссе, где непонятно почему нас ни разу не сбили грузовики, хотя мы часто возвращались по нему в полной темноте и никаких фар на наших великах не было. Потом ехали по Внуковскому шоссе, где грузовиков почти не было, а потом маленький кусок по тихому и красивому Боровскому. Моей маме и бабушке Нолику мы ничего не сказали. Они так привыкли, что мы целыми днями где-то пропадем, что уже перестали волноваться.

Я думала, что если нам удастся встретить Даню, он будет так рад, что тут же возьмет нас с собой в Москву. Всю зиму мечтаешь о даче, а к концу лета уже не хочется ни смородины, ни крыжовника – тянет в Москву. Куда мы денем велосипеды, если он возьмет нас с собой, мы как-то не подумали.

В 1954 году аэропорт Внуково выглядел совсем не так, как сегодня. Это было большое зеленое поле. Никакого забора, никто нас не остановил, мы въехали прямо на поле и покатались по влажной после дождя траве мимо казавшихся забытыми самолетами. У одного из них работали моторы и крутились два пропеллера. Мы бросили велосипеды и стали осторожно приближаться к самолету. Из раскрытой двери на нас смотрел летчик и улыбался.

– Дяденька, покатайте, – крикнула я.

– Залезайте, – прокричал он в ответ, – только быстро!

Мы вскарабкались в кабину, и Шуша сразу же уткнулся взглядом во все эти кнопки и стрелочки.

– А это что? А это зачем? – спрашивал он, а летчик, которому, наверное, надоело сидеть одному в пустом самолете, охотно отвечал. Может, у него не было детей, и он мечтал о сыне. А может, его бросила жена и забрала детей. Не знаю. Но видно было, что ему нравится все нам показывать и рассказывать.

– А теперь держитесь крепче, – сказал он. – Покажаю.

Моторы взревели, и мы медленно покатались по траве. Я сначала думала, что мы сейчас взлетим, но он просто хотел покатавать нас по земле. Все равно это был полный восторг. Кабина была высоко над землей, и казалось, что мы летим. Как жаль, что никто нас не видел в этот момент. Дымчатый умер бы от зависти. Кто нам поверит, что все это было на самом деле.

– Приехали, – сказал летчик. – Вылезайте. Покажу вам реактивный самолет.

Мы были в совсем другой части поля, далеко от велосипедов. Реактивный самолет был намного меньше нашего, и у него не было пропеллеров.

– Вот сюда попадает воздух, – объяснял летчик, – а отсюда вылетает пламя.

– Горячее? – спросил Шуша.

– Нормальное. Мы всегда с собой сырую курицу возим. Проголодались – подставляем курицу прямо к соплу – через 30 секунд курица готова.

Шуша слушал с широко раскрытыми глазами. Я-то, конечно, понимала, что летчик шутит, я все-таки на три года старше, а он верил каждому слову.

– Всё, ребята, – сказал летчик, – мне пора.

– А как же мы найдем наши велосипеды? – спросила я.

– Как-нибудь найдете, – летчик почему-то вдруг потерял к нам всякий интерес. А может быть, ему сигнал какой-то послали азбукой Морзе. Он быстро залез в свой самолет и укатил, а мы с Шушей медленно двинулись через поле в сторону леса.

Мы шли, наверное, час. Велосипеды лежали в траве, там, где мы их бросили, никто их не тронул, а трава за это время высохла.

– Поехали домой, – сказала я, но Шуша смотрел на что-то за моей спиной и не отвечал.

– Смотри, – произнес он вдруг.

Я обернулась. На фоне желтого закатного солнца прямо на траву спускался черный силуэт самолета.

– Данька прилетел, – заорала я. – Бежим!

Мы снова бросили велосипеды и помчались навстречу самолету. Сейчас, вспоминая эту историю, я думаю, какие же мы были идиоты – бегать по полю, на которое садятся самолеты, но у нас не было никакого чувства опасности.

Самолет остановился, когда от нас до него было метров пятьдесят или сто. Никакой уверенности, что это был тот самый самолет, у нас не было, но мы продолжали бежать. К самолету подкатили трап, пропеллеры остановились, и наступила тишина. По трапу стали спускаться люди, одетые во все бежевое. Они выглядели как иностранцы, но говорили по-русски.

– Даня, Даня! – закричала я, когда он появился на трапе.

Он меня не слышал и увлеченно говорил что-то женщине, державшей его под руку. Они спустились по трапу на траву и вместе с остальными двинулись в нашу сторону.

– Даня, Даня! – продолжала кричать я.

Тут он наконец нас увидел, и его оживленное лицо сразу застыло. Женщина выдернула руку.

– Что вы здесь делаете? – мрачно спросил он.

Я растерялась.

– Мы приехали тебя встречать.

– Кто мы?

– Мы с Шушей.

– На чем приехали?

– На велосипедах с дачи.

– Так. А теперь то же самое, но в обратном порядке, – с этими словами он повернулся и двинулся вместе со всеми к автобусу с надписью “Аэрофлот”.

Мы стояли и смотрели, как Даня и женщина, ярко освещенные закатным солнцем, последними вскарабкались в зеленый автобус, дверь закрылась, автобус изверг клубы коричневого дыма и покатился по направлению к лесу.

Мы постояли еще несколько минут и медленно двинулись в сторону наших брошенных велосипедов.

– Ты понял, почему он разозлился? – спросила я.

– Да, – сказал Шуша грустно. – Он волновался, что мы поехали одни и что могли попасть под машину.

– Да, – сказала я. – Ты прав.

Он был маленький и ничего не понял. А я все поняла, я все-таки на три года старше.

У Дани была любовница!

## Через лес

Иногда они шли через лес вдвоем с отцом, иногда втроем, иногда к ним присоединялись дети родственников и соседей. Иногда шли на пруд купаться, иногда на речку, иногда к Старухе.

– Пока мы не дошли до конца леса, – говорил Даня, – вы все должны выучить одно стихотворение. Сначала я прочту все подряд, а потом по одной строчке.

Была ли это магия леса или интонации отца, но все выученные таким образом стихи застряли в голове у Шуши практически навсегда. Иногда, непонятно по какой логике, в разных странах, строчки начинали звучать в ушах:

Я покинул родимый дом,  
Голубую оставил Русь.  
В три звезды березняк над прудом  
Теплит матери старой грусть...

Первый раз Шуша увидел Старуху в ее московской квартире. Стена в прихожей была целиком покрыта зеркалами и техническими изобретениями ее мужа вроде застекленной коробочки: как только почтальон опускал что-нибудь в почтовый ящик, из этой коробочки выпрыгивали пять почтовых марок, а на них слово ПОЧТА. Это чудо происходило благодаря реле, которое рукодельник-муж установил на крышке почтового ящика.

Остальные стены были увешаны живописью раннего Маяковского, Бурлюка, Пиросмани, Штеренберга, Тышлера, фотографиями, жостковскими подносами, мексиканскими соломенными распятиями, лубками Первой мировой войны, расписными тарелками и бесчисленными бра. Общее ощущение, оставшееся у Шуши с детства, – роскошь.

Зеркальная стена создавала иллюзию гигантской анфилады, хотя комнат было всего три: гостиная, где стояли черное пианино и японский телевизор, подаренный Майей Плисецкой, кабинет, где все пространство было заполнено радиотоварами фирмы *Grundig*, проданными мужу по протекции Луи Арагона с большой скидкой, и, наконец, спальня, где всю стену занимала картина, изображающая молодую Старуху в синем платье, полулежащую на красном покрывале рядом с газетой и спящей кошкой, среди разноцветных подушек.

Не странно ли, думал Шуша, что квартира, взявшая на себя функции мемориала футуристов, носивших рукописи в наволочках и подкладывающих под голову полено, аскетов, мечтающих откидывать кровать на ночь из шкафа, этих больших детей, ошарашивающих взрослых своей непосредственностью, все время что-то бормочущих и раздающих налево и направо пощечины общественному вкусу, не странно ли, что квартира эта – будем называть вещи своими именами – так буржуазна. Даже жестяная вывеска Пиросмани “ЧАЙ.ПИВО”, висящая над пианино рядом с антикварной лампой, выглядела шикарно, как, впрочем, и абажур из ткани, расписанной Пикассо, а где-то с краю, возможно, была надпись “от Павлика П. с любовью”.

А что вы хотите, могла бы ответить на это Старуха, лично я никогда не хотела откидывать на ночь кровать из шкафа, моя кровать была откинута днем и ночью. И нечего удивляться, если работы нищих художников продаются после их смерти за миллионы, а рукописи из наволочек появляются в академических собраниях сочинений. Так устроена жизнь, смиритесь с этим.

В шестнадцать лет Шуша сам был таким бормочущим юношей. Он ходил, правда, не с наволочкой, а с рюкзаком, в котором лежал старый магнитофон *Grundig TK-5*, купленный в комиссионном магазине на Смоленской за 500 рублей, заработанных съемками в научно-популярных фильмах в роли пытливого школьника. Как потом рассказал приятель, работавший в этом магазине, магнитофон принес на продажу советский драматург, автор пьес “Человек

с ружьем” и “Ленин в 1918 году”, и ему, как лауреату Сталинских премий, оценили старый *Grundig* в 500, хотя цена ему была в лучшем случае 300. Да, Шуша был тогда бестолковым бормочущим юношей, притворяющимся сумасшедшим и некоммуникабельным, хотя притворяться было не обязательно, он действительно в то время был сумасшедшим и некоммуникабельным.

Он приезжал со своим рюкзаком к Старухе, бормотал что-то, видимо, напоминавшее ей то ли Хлебникова, то ли Маяковского, еще влюбленного в Эльзу, то ли Витю Шкловского, уже влюбленного в Эльзу, во всяком случае, это был ее стиль, и ей это нравилось. Муж доставал свои заветные пластинки, ставил их на лучший из своих проигрывателей, протягивал Шуше шнур, один конец которого был воткнут в усилитель фирмы *Grundig* стоимостью 1600 марок, – мужу он, конечно, достался за 800, – а другой конец Шуша втыкал в свой древний потертый *TK-5* с неработающей перемоткой.

Пока шла перезапись, Старуха поила его чаем. Она наливала неполный стакан и говорила:

– Я вам оставляю место для сахара.

Она расспрашивала его о жизни, а он в ответ бормотал что-то нечленораздельное.

– Какой прелестный сын у Даниила Наумовича, – рассказывала она знакомым.

В один из таких приездов дверь ему открыла Майя Плисецкая. Она была уже в пальто и, очевидно, собиралась уходить.

– Господи, какая тяжесть, – сказала она, пытаясь снять с него рюкзак, – Шуша, как ты это носишь?

Балетная школа Елизаветы Гердт дала себя знать, своими пластичными руками Плисецкая грациозно сняла рюкзак, мягко поставила на пол, приветливо помахала Шуше и вышла из квартиры.

Из кабинета доносилась иностранная речь.

– Шуша! – раздался голос Старухи. – Идите скорее сюда!

– Иду, иду, – крикнул он в ответ. Хотя идти совершенно не хотелось, он не спеша начал вытаскивать из рюкзака магнитофон.

– Ну что же вы? – раздался опять голос Старухи.

– Сейчас, сейчас, – крикнул он и не сдвинулся с места. Ему казалось, что еще несколько минут, и про него забудут.

– Шуша! – закричала Старуха требовательным голосом. – Я вас жду!

Потом он услышал, как она добавила кому-то негромко:

– Это прелестный юноша, вы увидите.

Делать было нечего, он пошел, как человек с ружьем или Ленин в 1918 году, неся перед собой свой *TK-5*, защищающий его от иностранцев, перед которыми ему предстояло играть роль прелестного юноши. Страх сцены! Его даже Лоуренс Оливье не мог преодолеть.

В кабинете он увидел несколько мужчин и женщин, одетых, как показалось Шуше, с вызывающей роскошью. Он остановился прямо посередине, не выпуская из рук магнитофона.

– Идите же сюда, – раздался из угла раздраженный голос Старухи.

Она сидела в огромном кожаном кресле, обложенная подушками, увешанная цепочками, лорнетками, слуховыми рожками, очками и прочей аудио- визуальной техникой. Шуша поднял голову и прямо перед собой увидел высокого мужчину во фраке. Как, несомненно, поступил бы на его месте Хлебников, Шуша прижал левой рукой к себе магнитофон, а правую протянул мужчине. Тот растерянно пожал ее. Шуша постоял молча еще три минуты, потом в полной тишине вышел из кабинета.

Через несколько месяцев его снова стали приглашать, скорее всего, по настоянию мужа, который еще не успел переписать все Шушины пластинки, особенно его интересовали английские мюзиклы. Когда обмен пластинками закончился, визиты в московскую квартиру на

несколько лет прекратились. Потом возобновились. К этому времени Шуша уже научился притворяться нормальным и общительным и даже веселил Старуху и ее гостей историями из студенческого быта.

На этот раз они шли к ней на дачу втроем: мама, папа и Шуша. Был теплый августовский вечер. Солнце едва проникало сквозь переплетение березовых и сосновых веток, рисуя на усыпанной сосновыми иголками тропинке живописные пятна. Когда подошли к даче, на террасе уже был накрыт стол – с крахмальной скатертью, салфетками, серебряными вилками, хрустальными бокалами и бутылками французского вина. За столом сидело человек двенадцать. Опоздавшим Шульцам было оставлено три стула и три прибора. Старуха, раскрашенная, как пасхальное яйцо, возмущенно говорила:

– Перестаньте мне твердить про этого Мандельштама. Он был дурак. Мы только так его и называли: дурак.

Справа от Шуши сидел Симонов, за ним Плисецкая с Щедриным, дальше какие-то французы. Высокий человек во фраке показался Шуше знакомым. Старуха разливала чай, говоря каждому гостю: “Я вам оставляю место для сахара”. Отец развлекал гостей своей коронной историей про пьяного Смелякова. Мать показывала семейные фотографии. Когда дошли до фото беременной Дины, Старуха быстро сказала:

– Уберите! Я на это смотреть не буду.

Детей у нее не было, возможно, и не могло быть, и любое напоминание о том, что они у кого-то бывают, было ей неприятно. Ее легкое отношение к сексу не распространялось на его последствия.

– Даниил Наумович, – вдруг сказала она, обращаясь к Шульцу, – вы все время говорите и не даёте раскрыть рта вашей жене. Помолчите, я хочу послушать Валентину Васильевну. Говорите, Валентина Васильевна! Расскажите нам что-нибудь.

Шуша замер. Мать была патологически застенчива. Выталкивание ее на сцену могло кончиться катастрофой. За этим столом с крахмальной скатертью, серебром и *Château Cheval Blanc*. Валя залилась краской и начала:

– У нашего Татоши очень длинная шерсть. Сегодня утром он сделал по-большому, и у него все застряло...

– Валя! – прошипел Дания. – Это не застольная тема.

– Помолчите, Даниил Наумович! – прикрикнула на него Старуха. – Мне очень интересно. Рассказывайте, Валентина Васильевна.

– У него все застряло в шерсти, получился полный затор. Я все утро провела выстригая, отмывая...

Наступила пауза.

– Спасибо, Валентина Васильевна, очень трогательно, – сказала Старуха.

Потом, обращаясь к гостям, продолжала:

– В девятнадцатом году мы жили в Москве и питались одной мороженой картошкой. А как вы знаете, от мороженой картошки у людей бывают газы. Каждые несколько минут кто-нибудь портил воздух. И тогда Володя придумал. Все мы – Витя, Володя, Давид, Ося – ходили со спичками. Тот, с кем это случалось, немедленно зажигал спичку – во-первых, он предупреждал окружающих, а во-вторых, пламя спички устраняло запах.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.